

Дорис
Зюмский

ПУТЬ
К СЕБЕ



ОТЧИМ



**ПУТЬ
К СЕБЕ**



ОТЧИМ

Повести

РОСТОВСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО.
1979

И 39 Изюмский Б. В.
Путь к себе. Отчим. Повести. — Ро-
стов, Кн. изд-во, 1979 — 256 с.

В книгу вошли две повести — «Путь к себе» и «Отчим».

Героями первой повести являются учащиеся ГПТУ. О разных судьбах этих подростков, о формировании их жизненных взглядов, об их нравственном мужании рассказывается в ней.

Вторая повесть писателя — о воспитании подростка в семье.

И **70803 — 007**
М156(03)—79 **51—79**

Р 2

Путь к себе

Повесть



Скандал разгорелся неожиданно.

Семейство Алпатовых: Виктор Кузьмич, Маргарита Сергеевна и почти шестнадцатилетний сын их Егор завтракали на кухне.

Просторное распахнутое окно выходило на лоджию, а за ней виднелось синее, безмятежное в этот час море.

По радио передавали «С добрым утром», выступал Аркадий Райкин, и на лицах Алпатовых — на каждом по-своему — играли отсветы смеха.

У сорокалетнего заводского экспедитора Алпатова-старшего, в профиль похожего на шахматного коня со скушыми седеющими кудрями, на лице было написано снисхождение. Продавщица универмага Маргарита Сергеевна — на несколько лет моложе мужа, плоскогрудая, с глазами, словно размытыми слезой, — сдерживала смех, при этом поблекшие губы ее вздрагивали, а обычно бледное лицо зарозовело.

Лобастенький Егор, с зачесом каштановых волос набок, в зеленой клетчатой кофточке с подвернутыми рукавами и джинсах, ерзал от удовольствия.

После Райкина начали передавать что-то веселое о разных профессиях, сколько тысяч их на свете и как разобраться в этом океане.

И тогда Егор сказал, вроде бы между прочим, что будет учиться в профтехучилище, в областном центре.

Егор оттягивал эту минуту, зная, что родители уже решили за него, — он идет в девятый класс, а потом в институт. Не важно, в какой... У них в городе был педагогический, и мама называла ректора — Федей, потому что когда-то в

школе, в четвертом классе «А», сидела с ним за одной партой. Теперь мама очень рассчитывала на давнее знакомство.

Придумать такое — он учитель! Вот откуда берутся горе-учителя вроде их классной руководительницы Ксюши: сама мучилась и учеников терзала. Наверно, пошла в пед, потому что там конкурс был меньше или свой Федя нашелся.

Отец уставился на Егора, как на полоумного. Лицо его напряглось, широкие брови взъерошились.

— Где-где ты будешь учиться?! Ничего лучше придумать не мог?

В последнее время, после возвращения с курорта, отец почему-то был особенно резким и легко взрывался. Мать, прижав тонкие пальцы к груди, спросила беспомощно:

— На грязного штукатура?

— Почему обязательно — на штукатура, — как мог независимо возразил Егор, — и, главное, на грязного? Их профессия не хуже твоей.

— Ты из интеллигентной семьи, — еще не понимая степени опасности для себя, проникновенно сказала мать. — Что мы, не в состоянии дать тебе высшее образование, прокормить? Что мы, хуже других? В ГПТУ идут те, кто не желает учиться. Их туда спихивают.

Ну, вот, пожалуйста, мотивчик Ксюши. Каждый раз, когда она отчитывала в классе Кольку Жбанова, она говорила: «Твое место в ГПТУ. Постойшь у станка — поймешь, что мы тебе добра желали».

Отец подошел к радиоприемнику и резко повернул выключатель.

— Никаких ГПТУ! — Виктор Кузьмич метнул в сторону сына стальные молнии.

— Вы даже не интересуетесь, какую профессию я избрал, — горько сказал Егор.

— Он избрал! Пока ты ешь мой хлеб, — тоном, не терпящим возражений, процедил отец, делая ударение на «мой», — и живешь в моем доме, ты будешь делать то, что я тебе говорю. У тебя еще нет своего «я». Пойдешь в девятый класс!

Собственно, Виктор Кузьмич ничего не имел против рабочих профессий. Но про себя все же делил специальности на интеллигентные и те, где «ишачат», «вкалывают».

Не получивший даже среднего образования, довольствовавшийся разными курсами, Виктор Кузьмич тем не менее полагал, что «выбился в люди». На заводе он был на хорошем счету, его часто премировали, вывешивали фотографию на доску Почета. Алпатов считал себя если не инженером, то уж во всяком случае причастным к интеллигенции.

Но сын должен добиться большего, много большего.

— Я хочу... — начал было Егор.

Отец прервал его:

— Разговор окончен! Я не допущу, чтобы ты был недоучкой!

— Нет, не окончен! — вскочил Егор, и лицо его побледнело. — Я уже сдал документы!

Мать схватилась за сердце, упавшим голосом сказала:

— Георгий, не дури!

— Возьмет обратно, — грозно произнес Алпатов-старший, — или я заставляю...

Плохо знал своего сына Виктор Кузьмич, иначе не разговаривал бы с ним так.

Егор отчужденно поглядел на отца:

— Я уезжаю. Сам себя прокормлю. Жить буду в общежитии.

Он стремглав бросился из кухни, сдернул с вешалки куртку — в ней был комсомольский билет, деньги, собравшиеся на фотоаппарат, — и убежал на улицу.

Не слышал, как, уже вдогонку, отец крикнул: — Ну, паршивец, ты еще пожалеешь!

«Ракета» отошла от причала и стала набирать скорость, вздымая седые буруны.

Плыли навстречу стайки арбузных корок. Пламя ранней осени подступало к стене кленов на берегу.

Егор рассеянно глядел в иллюминатор. Черт возьми, это даже хорошо, что он вырвался из «отчего дома». Там становилось невыносимо.

«Не поцарапай пол» — паркет был покрыт лаком.

«Не свали хрусталь» — этим проклятым хрусталем мать устала, как в комиссионном магазине, все столы, сервант, даже на телевизор взгромождила. Егор стеснялся пригласить к себе в гости одноклассников.

Вывесили бы табличку, как в музее: «Руками не трогать!»

Разговоры, особенно у матери, обычно сводились к тому, что она «достала», кто ей что обещал «за услуги», где какие барахолки и базы, какие вещи купили знакомые и что надо купить им, Алпатовым.

А книги Егору некуда было притулить и тиски — тоже.

Его делами в школе родители интересовались только для вида — полистают дневник, удостоверятся, что все благополучно...

Глупо было бы предполагать, что Егор против удобств, красивой облицовки стен, холодильника последней марки. Пожалуйста! На здоровье! Но сводить все только к этому? Нет уж, извините!

Жить он будет ого-го! На свете так много интересного! Стихи, новые сплавы, фантастика, бокс, монтаж Атоммаша. Да мало ли что еще!

«Им даже безразлично, какую профессию я выбрал, — снова, с еще большим ожесточением, подумал Егор, — даже не спросили!

...Придумали словечко — «акселерация». В словаре написано — «ускорение».

Нужны туфли 44 размера — «Ах, какая акселерация!». Из пальто вырос, рост — 176 сантиметров. «Ах, ах — акселерация!»

А что характер и воля у меня могут быть аксельрацные, об этом не думают, до этого им дела нет! Всё считают кутенком и лучше моего знают, что мне надо, что для меня хорошо. Мол, у нас, как у ихтиозавров — тело большое, а мозга — чуть.

«Недоучкой будешь...»

Наверно, и не слыхали, что Главный конструктор космического корабля Королев учился в одесском строительном профтехучилище, был подручным кровельщика. Ясно? А «ремесленник» Гагарин вышел из люберецкого профтехучилища литейщиком-формовщиком. Летчик Покрышкин закончил ФЗУ в Новосибирске. А скольких академиков и министров дали «трудовые резервы»!.. Недоучки!.. Нашелся учитель жизни!

Думает, я не знаю, что он изменяет маме. Видал его в темном переулке с какой-то... Это можно?

А мама... Ну что мама — безвольная. Во всем

отцу потекает. Ночью плачет, а днем делает вид, будто ничего и не происходит.

И вовсе не «взбрело» мне на ум идти в профтехучилище, а все продумано и выверено. Акселерация ваша сработала».

...Егору еще в шестом классе захотелось стать монтажником. Об этой профессии понаслышался от соседа, видел монтажников во время экскурсии на завод, читал о них в книгах, даже любил насвистывать песенку из фильма «Высота». Весной этого года к ним в школу приехал из областного города молодой мастер, привез с собой живое «наглядное пособие» — выпускника училища, именно монтажника. Парень в темно-синей форме оратором был не ахти каким, но сказал что надо:

— Три года у нас проучитесь — среднее образование получите и замечательную профессию... Не думайте, что я по обязанности завлекаю... Правда — не пожалейте!

— А зарплата у вас какая? — вылез рыжий Колька Жбанов с фонарем под глазом.

— Вот Алексей, например, — мастер кивнул головой в сторону парня, — закончит с четвертым разрядом. Будет получать сто шестьдесят — сто семьдесят рублей

Егор озлился на Жбанова. Разве дело в деньгах? Да ему, Егору, дай тысячу рублей в месяц — не выберет он нелюбимую профессию. Важно, чтобы душа ее просила. Может быть, именно Алпатову предстоит монтировать космические станции. А почему бы и нет?..

Позже Егор отправился в училище, о котором шла речь. Чудеса гачались с вестибюля. На столе дежурного паренька с повязкой на рукаве — хитрое устройство. Оно показывало месяц, день;

продолговатые часы соединялись со звонком. Егор только переступил порог, как на табло возле дежурного загорелось: «Грязно!» Егор поглядел на свои туфли и — назад, вытирать ноги.

Зашел снова. Объяснил, что, мол, хотел бы посмотреть училище. Дежурный вызвал по переговорному транзистору помощника, и тот повел Алпатова.

Ну, что сказать? Простор, свет, мастерские и лаборатории. То, что надо!

В сочинении по литературе «Моя будущая профессия» Алпатов написал: «Буду монтажником».

Сочинением этим он отвечал и Ксюше, что кричала Кольке Жбанову: «Иди к хулиганам в ГПТУ!»

Документы для поступления он добыл быстро, только завуч школы никак не хотел отдавать свидетельство. То говорил: «Нет печати, директор уехал в Москву», то: «Завтра приди». А потом стал уговаривать: «Не бросай родную школу».

Потом надо было еще сфотографироваться, написать автобиографию. Здесь особо не распишешься, но он все же три раза переписывал ее.

...Приемная комиссия заседала в кабинете «программированного обучения» среди каких-то мудреных приборов. За длинным столом строгий человек в очках просматривал документы.

Вместе с Егором подсели к столу тоненькая девушка и паренек его возраста, Григорий Поздняев. Был этот Григорий невысок ростом, но крепко сколочен, в ответах медлителен и с неимоверно курчавой шевелюрой, словно сбегаящей на виски и щеки. Он тоже подавал заявле-

ние в группу монтажников. Председатель приемной комиссии поинтересовался:

— А почему вы избрали профессию именно монтажника?

Григорий, набывчившись, долго молчал, наконец выдал:

— Нравится.

— А может быть, пойдете в группу слесарей по ремонту автомобилей или в сантехники? У нас в группу монтажников уже конкурс документов.

Но Поздняев, посмотрев на председателя исподлобья, сказал решительно:

— Нет, только монтажником. Или никуда.

Председатель улыбнулся:

— Ну, оставляйте документы. Ответ мы вам пришлем.

У Егора председатель спросил:

— В общежитии нуждаетесь?

Алпатов помялся:

— Тетка у меня здесь... Не знаю, захочет ли принять... Лучше в общежитие...

— Записываю, но это под вопросом, — будто с конкурсом уже решено, сказал председатель. — У нас с местами в общежитии туговато.

Девушка назвала себя Тоней Дашковой. Оказывается, у нее десятиклассное образование. («Вот никогда не подумал бы, пигалица такая».) Тоня подавала заявление в группу полиграфистов.

Так они втроем и вышли из кабинета. У Тони гладкие длинные волосы золотистого отлива собраны сзади в узел, на лице едва заметны веснушки, глаза со стрельчатыми светлыми ресницами, ясные, кроткие, словно бы излучают тепло.

— Ну, мальчики, — сказала она им, как уже знакомым, и улыбнулась, отчего открылся впере-

ди зуб со щербинкой, — я побежала на «ракету»... До встречи в училище.

Тоненькие загорелые ноги в белых царапинах промелькнули и исчезли. А Егор с Гришей пошли подкрепляться в кафе, здесь же, неподалеку.

Дверь кафе то и дело открывалась, и луч солнца слепил глаза, будто чья-то озорная рука наводила зеркальце.

Гриша остановился у входа, блаженно прищурился.

— Как ты думаешь, примут нас?

«Чудак какой-то, — покосился на Поздняева Егор, — ишь, нос-то картошкой...»

— Примут, — уверил он.

Тетка Анна Кузьминична — женщина с множеством бородавок на щеках и подбородке, с голосом, удивительно похожим на голос отца, низким, властным, — встретила Егора недоуменным вопросом:

— Ты опять приехал?

— Да, буду здесь учиться.

Он назвал номер училища. Увидев у тетки в глазах беспокойство, поспешил заверить:

— Дня через два в общежитие перееду.

— А родители отпустили?

— Что — родители? Профессию-то получать мне, — грубовато ответил Егор.

2

Директор училища Иван Родионович Коробов, не старый, но почти совсем седой, так расположил к себе Егора, что он, сам не понимая почему,

рассказал и о том, что произошло дома, и о нежелании жить у тетки. Выслушав эту исповедь, Иван Родионович раздумчиво помял ладонью сесанный подбородок. На правой щеке у директора зеленовато-синее пятно давнего порохового ожога, на горле — затянувшийся рубец.

Ребята постарше успели рассказать Егору, что рубец этот — от пули. За несколько дней до окончания Отечественной войны шел капитан Коробов парламентарем к фашистам под Берлином, а они его подстрелили. С тех пор ему трудно поворачивать шею.

Иван Родионович написал что-то на листке бумаги и протянул его Алпатову:

— Идите к коменданту общежития. Она вас устроит.

К большой радости Егора, его определили в одну комнату с Гришей Поздняевым. Третьим оказался Антон Дробот — русоволосый, широкоплечий парень, ростом повыше Егора. Крепко пожав Алпатову руку, Антон сказал весело:

— Гвардейский экипаж монтажников укомплектован.

Лицо у Дробота продолговатое, с хрящеватым носом и тугими скулами. «Волевое», — подумал Егор.

Он с Гришей пошел осмотреть училище.

На зеленых железных воротах были вырезаны гаечный ключ и молоток. У входа в трехэтажное здание висела на стене мемориальная доска с именами выпускников, еще ФЗО, погибших в Отечественную войну.

В просторном вестибюле дежурные драили пол. Здесь стояло под стеклом знамя ЦК ВЛКСМ, а рядом висело обращение Алексея Стаханова: «Дорогие мои юные современники! Сегодня я обра-

щаюсь к вам, как к родным сыновьям и дочерям. Именно вам предстоит продолжать дело, начатое ударниками первых пятилеток, нести дальше трудовую эстафету дедов и отцов».

Что бы ни рассматривали Егор с Гришей — спортивные кубки, галерею знатных людей, музеев (девять воспитанников училища снаряжали корабль Гагарина), выставку моделей, — их не оставляло ощущение, что это все серьезное, настоящее.

Они заглянули в актовЫй зал с полукругом сидений, широким, приподнятым сейчас экраном, большой телеустановкой. В кабинете эстетики их внимание привлек барельеф женщины со странной фамилией Нефертити, ну, а балерину Надю Павлову — сразу узнали.

Они сейчас походили на молодых круглоголовых гусят, с любопытством взирающих на мир.

И каких только кабинетов здесь нет! Технического черчения, технологии металлов, обществоведения; и даже кабинет с настольным «полигоном», где, видно, обучали правилам автомобильного движения.

Егор в какой уже раз с неприязнью вспомнил: «Недоучки!»



Торжественная линейка, для посвящения новобранцев в «резерв рабочего класса», выстроилась на стадионе училища в семь утра.

— Под знамя — смирно!

И знамя, проплыв вдоль строя, остановилось на фланге.

Егор слышал, как их мастер Петр Фирсович Голенков — саженого роста, с прядями волос, по-

хожими на два светлых крыла над молодожавым лицом, — сказал кому-то:

— Пустили двигатель!..

Первый урок был Ленинским. После звонка учащиеся разошлись по классам, чтобы встретиться с ветеранами войны и труда.

А второй урок у монтажников вел преподаватель спецтехнологии Константин Иванович Середа. Он понравился всем с первых же минут: корректный, деловитый и, как они определили, — современный. И внешностью, и манерой держать себя.

Константин Иванович среднего роста, спортивен, его легко представить на лыжах, в плавательном бассейне. У него здоровый загар, густая шапка вьющихся темно-каштановых волос, на которых и шляпа, наверно, с трудом удерживается, модная прическа с «полными баками», воротник в крупную клетку выпущен поверх темно-синей шерстяной фасонной куртки.

Обмениваясь позже впечатлениями об этом человеке, Егор и Антон пришли к выводу, что на прикрепленного преподавателя им повезло, как и на мастера: Фирсович, кажется, любил пошуметь, но — безвредно.

Середа сразу же провел ребят в свой кабинет, где были выставлены лучшие работы учащихся и смонтированный ими небольшой робот. Этот робот сказал ржавым голосом сначала по-английски, а потом по-русски:

— Разрешите представиться: я — Сенечка.

Поклонился, снял шляпу. Уши у него треугольные, над лбом-трапецией — металлический начес. Ребята глядели пораженно.

— Неужели и мы сможем... — мечтательно протянул Антон.

— Гарантирую!—уверенно пообещал Константин Иванович.

Серые глаза его смотрели спокойно, им нельзя было не поверить.

Он подошел к доске, мелом, без циркуля, одним движением начертил безупречную окружность. Затем быстро, точно набросал разметочным инструментом геометрические фигуры на металлических заготовках, начал объяснение.

Ребята перешептывались:

— Вот это да!

Они и потом, позже, не однажды будут восхищаться умелостью своего преподавателя, тонкого знатока монтажного дела. А пока он вел беседу:

— Скажите, пожалуйста... Не торопитесь... Вдумайтесь...

Этот стиль им нравился, поднимал в собственных глазах.

Пообедав после занятий, ребята пришли в общежитие. Их переполняли впечатления от уроков, новых предметов, новых преподавателей. Они устали, но были взбудоражены.

Гриша, спрятав под матрац брюки, чтобы сохранилась складка, повесив на плечики рубашку в шкаф, присел в трусах и майке на свою койку. Крепкое, мускулистое тело его темно от загара, а белые волоски на руках, ногах походят на выступившую соль.

Каким малоразговорчивым и замкнутым ни был Поздняев, а Егор все же выведал у него, что отец Гриши — токарь-фрезеровщик — долго сомневался: следует ли отпускать сына в большой

город с его соблазнами. Наконец поддался уговорам, но обещал вскоре приехать и «если что не так — забрать». И мать, работавшая в сберкассе, всячески противилась отъезду сына в «чужой город», даже плакала. Но он им уже написал, что все в порядке, пусть не беспокоятся.

Сейчас Гриша спросил:

— Вы заметили, у нашего Петра Фирсовича любимое выражение: «в таком сочетании»?

Егор расхохотался:

— Не заметил! А вот запомнил, он сказал: «Посеешь шуруп — новый не вырастет». Он говорит — как на качелях катается...

Да, Петр Фирсович любил, чтобы голос его то взлетал, то падал до шепота. В таких случаях мастер вытягивал жилистую шею и, распахнув пиджак, поигрывая подтяжками, спрашивал доверительно: «То — что? То — кто?» И, сев за стол, накручивал на палец прядь волос.

— Литераторша здорово говорила, я заслушался, — продолжал Гриша. — Да чертов Хлыев мешал, будто на гвозде сидел. И все резинку жевал! Учительница даже спросила: «Дожевали?»

— Этот ангел нам еще даст прикурить... — нахмурился Антон.

...Котька Хлыев за свои шестнадцать лет прожил бурную, незадачливую жизнь. Он дважды убегал из дома от побоев отца-алкоголика, прятался то на голубятне, то в сараях. В поисках лучшей доли ездил зайцем за тридевять земель к дядьке — испытателю вертолетов, — да не застал его в живых — разбился дядька.

Котька возвратился в большой город, неподалеку от своего рабочего поселка, где продолжал буйствовать отец. В городе Котьку вовлекли в компанию подростки Жура, Скважина, Пи-

фа — искатели легкой наживы. Вместе с ними Хлыев ограбил школьный кабинет физики, но был пойман и препровожден в колонию для несовершеннолетних преступников. Вскоре, по амнистии, его освободили. Молодая женщина, лейтенант милиции Ирина Федоровна, после университета посланная комсомолом на работу в милицию, участливо отнеслась к Хлыеву, настояла, чтобы он подал документы в ПТУ. Но председатель приемной комиссии строительного училища, пробежав глазами Котькины бумаги, сухо сказал: «Принять не сможем».

И вот здесь-то Хлыевым овладела ярость. Он на глазах у комиссии остервенело разорвал в мелкие клочья свои документы, в том числе и свидетельства о рождении, об окончании восьми классов.

— Значит, заразный я! — кричал Хлыев. — Тухляк никому не нужный! На помойку меня! Да пошли вы... — Котька грязно выругался, окончательно убедив председателя комиссии, что в училище ему не место.

И опять Хлыев попал в милицию, к счастью — к той же Ирине Федоровне.

Она, как могла, успокаивала Котьку, когда он, всхлипывая, бился головой о стол и вскрикивал: «Все ненавидят!» Устроила его в общежитие, а сама добыла копии уничтоженных документов и договорилась с Иваном Родионовичем о приеме парня в его училище, к монтажникам — там ведь «ухари» нужны. Коробов энтузиазма не выразил: «Ухари? Я бы не сказал... Ну, рискнем».

...— Даст прикурить, — повторил Антон, — скажи мне, кто ты, и я скажу, каково твоему мастеру.

Дробот достал из тумбочки общие тетради,

стал надписывать фламастером — по какому предмету какая.

Преподавательница литературы Зоя Михайловна с первого же урока начала учить их, как следует вести конспект. Сейчас надо было пойти в читальный зал, переписать кое-что набело.

Между прочим, когда Антон брал сегодня учебники в библиотеке, то увидел там девушку из группы полиграфистов — она себя назвала библиотечарше Дашковой. Видно, скромная, но пальца в рот не кладет. Черт дернул его пошутить:

— Не длинноват ли хвостик?

Собственно, эти золотистого отлива волосы почти до плеч ему нравились, сдуру ляпнул.

— Тебе больше по душе начес?

Взгляд густо-синих глаз девушки открыт, бесхитростен, но и бесстрашен.

Антон сразу стушевался. Девчонка со средним образованием, да еще старше его, на целый год, разве он ей компания? Кому интересно получать щелчки в нос. Лучше глядеть на эту смелую тихоню издали. Хотя почему бы не пойти в кино, не погулять в парке?.. Э-э-э, чего захотел! Вот бы мама удивилась, узнав о его мыслях.

Дома он считался женоненавистником. У них никогда не бывали девчонки, в школе Антон предпочитал дружить с ребятами.

Мать у Антона химик-лаборант, отец — прапорщик.

Он любил своих родителей, гордился тем, как отец и мать ладно живут.

Познакомились они в самолете. Отцу, тогда сержанту, надо было лететь на Дальний Восток, а он встал в Харькове, потому что там выходила мама — она училась в техникуме.

И потом отец все прилетал и прилетал к ней.

И доприлетался. После того как мама закончила техникум, старший сержант Дробот увез ее на Крайний Север. Там и родился Антон. Мама говорила: «В тундре. Гляди, у тебя, как у отца, лицо скуластое, а глаза глубоко сидят. Это они от мороза прятались». Шутка, конечно, но глаза можно было бы иметь и побольше, покрасивее, а то как из пещеры выглядывают.

Антон не помнит, чтобы родители его ссорились, обижали друг друга. Еще учась в шестом классе он случайно услышал, как отец спросил у матери:

— Ты что ценишь в мужчине больше — силу или нежность?

— Сильную нежность, — ответила мама.

А недавно, ну, полгода назад, мама сказала Антону:

— Никогда, сынок, не разменивай большое чувство к девушке на мелкую монету...

Он отбрыкнулся:

— Меня девчонки ни капли не интересуют! — И вдруг добавил: — Конечно, если бы нашла такая, как ты...

..А Егор думал о своем. Он послал вчера письмо матери. Скорее бы ответила — тогда на воскресенье съездит домой. Правда, не улыбалось встречаться с отцом, да куда денешься. Где-то он читал: «Дети, будьте осторожны в выборе родителей». Сам выбрал.

Правду сказать, нежных чувств к отцу он не питал, предполагал, что и отец не очень-то к нему расположен. Обратная связь получается. Но привет все же Егор ему передал.

Сегодня во время перемены мастер посоветовал избрать старостой группы Антона. Все прого-

лосовали «за», только Хлыев, дурашливо напаяв на белесые космы фуражку «под леопарда», паясничал:

— Жить не могу без начальничков!

И шепотом:

— Обмыть, кореш, это дело надо.

Вот падший ангел... Котьку тоже устроили в общежитие, но комендант Анна Тихоновна, женщина права крутого, решительного, обнаружив у Хлыева поллитровку, предупредила:

— Еще замечу — отчислю.

Котька огрызнулся:

— Законом не предусмотрено.

3

Иван Родионович Коробов директорствовал без малого двадцать лет. Сначала в ФЗУ, потом здесь, в училище. Пришел он к этому своему любимому делу не сразу и не просто. С юности мечтал стать воспитателем мальчишек, но жизнь распорядилась по-своему.

Окончив, еще до войны, ФЗУ, Коробов работал электромонтажником на заводе. В первую военную зиму, в промерзшем цехе оружейного завода, одетый в бушлат с голубыми петлицами, собирал он посиневшими пальцами электросхему, скручивал алюминиевые хвостики проводов.

На всю жизнь запомнил Коробов своего мастера Афанасия Тарасовича, который однажды после смены вручил ему личный инструмент:

— Бери, Ваня, верю в твои молодые руки.

Позже Иван и сам стал учить ремесленников. Чертенюк Владик Жуков, с «арбузным хвостиком» на макушке, решил устроить ему проверку: подсунул хитрую электросхему с подвохом (сде-

лал в ней надрез на медной жилке, скрытой от глаз). Коробов посрамил «экзаменатора», а уходя в военное училище, передал Владику свой инструмент.

Потом, отвоевав, окончил техникум, вернулся на завод. Но все это было еще не то, чего просила душа. Иван Родионович поступил в пединститут на факультет трудового воспитания, и наконец-то очутился на своей орбите, где нужны были и техническая подготовка и педагогическое призвание.

...Сейчас Коробов задумчиво перелистывал календарь на рабочем столе. Иван Родионович только что был в мастерских, там заменяли устаревшее оборудование. Заглянул на строительную площадку, где медленнее, чем планировалось, поднимался корпус жилого дома для мастеров и преподавателей училища. И на другую площадку, где вырисовывались контуры бассейна «Дельфин».

Ко всем радостям, приходилось быть еще и прорабом — так сказать, на общественных началах. Вообще, изрядно устаешь от этих «должен», что со всех сторон окружают тебя, наваливаются, отвлекают от главного. Иногда иссякаешь до самого донышка. И шишов на твою долю достается много больше, чем роз.

Собери он воедино все устные выговоры и предупреждения, внушения и порицания, получится довольно увесистый том.

Выговор за несвоевременный ввод нового учебного корпуса, хотя строил-то не он. Строгое предупреждение за ЧП — на уборке овощей накурлел мальчишка... Выговор...

Право же, командиру батальона Коробову было легче. Хорошо еще, что есть в жизни, как он

полагает, некий закон сохранения данного служебного состояния человека, и из него не так-то просто несправедливо вывести тебя: снять, понизить, разжаловать.

Как есть, наверно, и тоже неписанный, закон компенсации. Если тебя незаслуженно обидели — непременно найдутся люди, старающиеся умягчить боль от несправедливости, возместить утраты.

Если быть предельно искренним перед собой, очень осложняют жизнь бесконечные вызовы на заседания, комиссии, к начальству и к тем, кто хочет быть твоим начальством.

Поток поручений, заданий, просьб с металлом в голосе и без него — только успевай поворачиваться.

Вот через полчаса надо поехать в колонию. Он общественный председатель комиссии по досрочному освобождению заслуживших того осужденных, а дело это ответственное и нелегкое.

Коробов вчитался в записи на перекидном календаре.

«Второй лингафонный кабинет» — ну, как оборудовали его, он проверит завтра. Совместное заседание профкома и комитета комсомола проведут сами, не маленькие. Надо позвонить, поздравить коллегу — директора ПТУ, его наградили орденом Ленина.

Иван Родионович отодвинул в сторону журнал дежурств по училищу, с тоской посмотрел на застекленный шкаф, где выстроились книги Ушинского, Макаренко, Сухомлинского с белыми гребнями закладок. Неделями некогда открыть дверцу этого шкафа.

Сегодня вторник? Значит, в 15.00 проводит он обычное оперативное совещание своего «штаба».

Так сказать, мозговой центр училища, педагогические асы. Это без всяких преувеличений. Вот взять хотя бы завуча — всевидящего и всезнающего Петра Платоновича. Он «из моряков», ходит с костыльком в руке, в брюках с широким клешем. В училище перешел из средней школы: составляет расписания, графики контрольных работ, ведает нагрузками преподавателей, повышением их квалификации, кабинетами и наглядными пособиями. Петр Платонович контролирует качество уроков, работу предметных комиссий, ведение классных журналов, дневников и еще многое другое. Без шума, методично, поражая своей работоспособностью.

Заместитель Коробова по воспитательной работе Афанасий Гаврилович — в прошлом комиссар, летчик с инженерным образованием — неугомонный человек, о котором в учительской в шутку говорят, что он способен подзарядить атомную станцию. Выступая с трибуны и входя в раж, Афанасий Гаврилович убирает сначала графин, затем стакан, словно расчищает себе место для ораторского размаха. Он должен, кроме всего того, что составляет круг его обязанностей, планировать работу кружков, олимпиад, брать на себя хозяйственные дела, когда это касается кабинетов, оборудования.

Помощникам Коробова не всегда просто было почувствовать «демаркационную линию» их прав и обязанностей. Поэтому Ивану Родионовичу приходится иногда подправлять ее, где сужать, а где и расширять.

В «штаб» входят несколько человек, и невозможно сказать, кто из них важнее, да они, к счастью, и не стараются подчеркивать степень своей значимости.

Сегодня на заседании «штаба» речь пойдет о последнем наборе. Надо осмыслить, что происходит: две трети поступивших — жители местные, это облегчает проблему общежития, но обязывает к более тесным связям с родителями. Небывало много детей из семей интеллигенции. Желанный поворот интереса к нам? Но тогда — в чем его причина?

Коробов развернул телеграмму, прежде не замеченную на столе: мать Алпатова извещала, что приезжает в два часа дня. Ну, это будет тяжелый разговор.

Миновав пропускной пункт, Коробов направился к флигелю начальника колонии, где обычно заседала комиссия. Но у тополиной аллеи его окликнули:

— Иван Родионович!

Перед ним стоял их выпускник пятилетней давности, в серой робе, стриженный под машинку. Что-то было в его внешности... заячье. В вытянутом лице, косовато поставленных глазах, прижатых ушах.

— Василий?! — воскликнул Коробов. — Тебя как сюда занесло?

Собственно, можно было и не удивляться. Василий Кудасов еще в училище выпивал, правда, только до «навеселе».

Василий был поражен:

— Да неужто вы меня, Иван Родионович, помните?

— Ну как вас не помнить? Всех помню. Даже походку и голоса...

Кудасов, например, ходил с подскоком, это Коробов тоже не забывал.

— Вы, наверно, уже смотрели здесь мое дело?

— Еще не смотрел. А что ты натворил?

Оказывается, опять «навеселе», Кудасов влез в драку, «защищая невинного», — угодил сюда на два года.

Эх, Василь, Василь, золотые руки, дурная башка!

Да какой же Василий тощий стал, худее прежнего, одни мослы. Длинный нос торчит между втянутыми щеками. А глаза умные, добрые. Глаза человека, который трезвым и букашку не обидит. И ловкие, все умеющие делать руки. Такие блоху подковали.

Кудасов мастак и по столярной части, и по сварке. Полы паркетом настелет. Замок хитрый, телевизор починит. Но особенно здорово слесарит. Здесь он — бог. Находит самые разумные решения, делает красиво, видно, получая наслаждение и от процесса труда, и от его результатов.

Ему бы дать образование — редкостный инженер получится.

— Иван Родионович, — просительно произнес Кудасов. — Меня на днях освободят. Возьмите к себе, в мастерскую... Не пожалеете.

Василий жадно вглядывается в лицо директора: глаза у того вроде сочувственные, возьмет, а там — ни-ни.

«Может, правда, взять? — думает Коробов. — За ним только присмотр нужен. И тогда «выходится» в мастера, как говаривает наш полиграфист Горожанкин. Стоп, стоп, директор, — рискованный эксперимент. О детях речь идет!»

— Нет, Василь, пока воздержусь. Погляжу на тебя повнимательнее издали...

— Не верите? — сник Кудасов.

— Вера делом крепка. Ты мне позвони, когда на работу устроишься...

— Ну, воля ваша, — с обидой выговорил Василий, дав себе зарок не звонить. — Пропойцу наши. — Он уныло побрел к жилому корпусу.

Закончив свои дела в колонии, Коробов возвращался пешком — хотелось во время неторопливой ходьбы отдохнуть. Но мучила мысль о Кудасове: не зря ли отказался от него?..

Начал сеять дождь. Странная погода в этом году. В начале апреля вдруг наступила жара. Тополиные сережки мгновенно устлали тротуары, отчаянно зацвели сады. Но у отопителей продолжался «сезон», и трубы, казалось, были раскалены. Город, минуя весну, изнемогая, ворвался в лето. А вот сейчас раньше срока наступила глубокая осень. Унылая, слякотная, без обычных багряно-золотистых пожаров, сухих, умиротворенных закатов. Ничего, есть и в такой поре своя прелесть.

Молодо сдвинул шляпу набок, подставляя лицо дождю, Иван Родионович с интересом поглядывал по сторонам. С юности любил он «играть в приметливость». Какие лица у мужчины и женщины, идущих впереди? Какие у них отношения? Какие характеры, судя по жестам, походке, обрывкам фраз?..

Вот и сейчас: интересно бы знать, кто этот старец с длинными седыми волосами, в допотопной плащ-накидке?.. Да нет же, это совсем не старец.

Теперь и о нем мальчишки думают: «Старик». Собственно, он возраста совершенно не чувствует, разве только заноят раны.

И понимает молодых, наверно, лучше, чем они его. Помнит свою юность, а им не понять пожилого человека.

Разбрызгивая лужи, промчался грузовик с надписью на заднем борту: «Шоссе не космос».

На опустелой детской площадке над мокрым песком возвышается деревянный бордовый гриб. На его шляпке детская рука вывела мелом: «Куклы не трогать! Опасно!» — и нарисовала череп с двумя перекрещенными костями.

Мысли неизбежно возвращали Коробова к училищу. Он, как это часто бывало, вел молчаливую беседу с терпеливым слушателем.

«Собственно, мы у истоков невиданного учебного заведения. Выращиваем новую ветвь — педагогику получения профессии, что ли. Моделируем неизвестный прежде тип педагогического процесса... Становимся вперёдсмотрящими во всей системе среднего образования. Нет, нет, это не бахвальство, а трезвый взгляд на вещи.

В чем наша особенность? Давая глубокие знания основ наук, мы учим применять их в избранной профессии, развиваем, не боюсь этого сказать, элементы инженерно-технического мышления. Замечено, что рабочий со средним образованием вдвое быстрее овладевает новой техникой. На нашей стартовой площадке для миллионов будущих рабочих архиважны межпредметные связи, — конечно же, в русле матушки политехнизации.

Работать в «рабочих академиях» стало и сложнее и много интереснее. Педагогам, мастерам требуется, я бы сказал, дополнительная «классность»: преподавателю химии — почаще бывать на химзаводе, физику — поближе стоять к мастерам, математику — составлять задачи, так ска-

зять, с производственным уклоном. На уроках русского языка — по возможности пользоваться специальными терминами.

И, конечно же, неизмеримо возрастает роль мастера. Такого, как Горожанкин. Его глазами смотрят учащиеся на свою профессию. В нем видят свое будущее.

Но мастеру у нас теперь не выехать только на умельстве и житейском опыте. Он должен разбираться в психологии подростка, должен... многое должен!

Вот взять Петра Фирсовича. В войну окончил ФЗУ, на фронте, по существу мальчишкой, ремонтировал боевые машины. После ранения и госпиталя работал по монтажу, стал очень уважаемым человеком на заводе. А года три назад, теряя в зарплате, перешел из цеха к нам: «Готовить смену».

Ничего не скажешь — умелец.

Но, пожалуй, слишком уповает на силу приказа, разговор «по душам» подчас сводит к разговору «по стойке смирно». И не прочь побушевать, поразоряться. Хотя на поверку — человек сердечный, и ребята к нему льнут.

В другой группе монтажников мастером Иван Анисимович Братов. Совсем молодой. Окончил индустриально-педагогический техникум. Может со своими ребятами и в футбол сгонять, и на вечеринке песню спеть. Требователен без крика. Но профессионального багажа, увы, пока маловато. Не успел нажить.

В идеале училищу нужен мастер, составленный из лучших половинок этих двоих».

Пробежала верткая машина, призывающая купить карточки «Спортлото», и отвлекла мысли Коробова.

«Человека влечет лотерея. Это у него в крови, так сказать, запрограммировано. В нем всегда сидит: «А вдруг?!» Но в нашем деле, — возвратился Коробов к училищу, — никаких лотерей и «вдруг» быть не должно. Только выверенные действия. Личность воспитывать личностью.

Что можно, например, сказать о счастливчике Середе, везучем Середе?.. Инженер в двадцать три года, мастер в двадцать четыре... Преподаватель божьей милостью в тридцать с небольшим... Сердечные победы. В любвях, как в репьях, убежденный холостяк. Технократ, не считающий гуманитарные науки за науки, не признающий посещение родителей на дому, переписку с ними, — ух, как не хотел он быть прикрепленным к группе монтажников, как отбивался, сколько отговорок придумал! А вместе с тем легко подчиняет, влюбляет в себя мальчишек, умело передает им знания. Это не мало, но, оказывается, дражайший Константин Иванович, в наше время и в нашем деле еще не все. И мы заставим вас пересмотреть свои позиции, обаятельный, везучий, лотерейный счастливчик Середа.

Между прочим, Константин Иванович, один довольно не глупый человек, историк Василий Никитич Татищев, организовав в восемнадцатом веке на Урале первую горнозаводскую школу, написал такую инструкцию для учителя оной. Мол, должен сей учитель быть, «яко един отец им общий вместо многих родителей. Должен по совести не только в их учении, но и во всех их делах, обсуждениях и поступках твердое и прилежное надзирание и попечение иметь о детях». А?

И я вам, дорогой Константин Иванович, процитирую как-нибудь этого презренного гуманиста-

рия и попрошу зело задуматься над услышанным.

К вашему сведению, технократ Середа, сотни исследовательских институтов, вузов, научных учреждений, издательств, понимаете, не десятки — сотни! — думают над нашими проблемами, готовят нам специальные программы, учебники, инженеров-педагогов.

Представляете, Константин Иванович, масштабы дела?! И какой педагог надобен? С желанием научить молодых жить. Разносторонне образованный, тонкий психолог. Только такой способен вылепить современного рабочего, я бы сказал, рабочего с остро развитым чувством трудового ритма, высокой духовной и душевной конституцией. Готовы ли вы, Середа, быть причастным к подобному сотворению?

Вот ведь в чем вопрос...»

Шел последний урок, когда мать Егора постучала в дверь директорского кабинета. Коробов поднялся навстречу бледной женщине с заплаканными глазами, в песочного цвета платье, словно бы сшитом на более полную фигуру.

— Я мать Георгия Алпатова. Он поступил к вам без нашего разрешения, — тихо начала посетительница.

— Да вы садитесь... — Коробов зашнулся.

— Маргарита Сергеевна, — подсказала она.

— Садитесь, Маргарита Сергеевна.

Ивану Родионовичу припомнилась исповедь ее сына. Попал парень в переплет.

— Чем могу быть полезен? — сухо вато спросил он.

Алпатова прижала к груди тонкие, почти прозрачные пальцы:

— Умоляю вас, возвратите нам Георгия...

Коробов помрачнел:

— Никто никакого насилия над вашим сыном не совершал. Я не могу вернуть вам его или не возвращать. Это вы решайте сами. Вот только мне не ясно, Маргарита Сергеевна, почему вы эгоистически не считаетесь с его вполне осознанными желаниями, призванием. Ведь определяется вся его жизнь...

— В том-то и дело, что вся. А разве он понимает, что ему хорошо... И какая мать не хочет счастья своему ребенку? Вырастет — будет нас винить, что не дали ему нормального образования.

Ивана Родионовича покорило от этих слов. Зеленовато-синее пятно у него на щеке потемнело.

— Чем же наше образование ненормально? — нахмурился он.

— Нет, вот вы скажите искренне, — она перешла на доверительный тон, подалась всем тщедушным телом к нему, — своего сына вы отдали бы в ГИТУ?

Коробов ответил сдержанно:

— Младшая моя дочь в прошлом году, вместе со своим классом, отправилась после выпуска строить БАМ. И думаю, правильно сделала...

В коридоре весело зазвенел звонок, извещающий об окончании уроков.

И все же я прошу вас — повлияйте на него, — не сдавалась Алпатова. — Ему надо возвратиться домой... Семейные обстоятельства...

— Нет уж, увольте меня, зла я ему не желаю. Сейчас ваш сын будет здесь, и решайте сами. Но думайте не только о себе.

Коробов вызвал по селектору Алпатова, а сам

быстро вышел из кабинета. Минуты через три появился Егор в темно-синем костюме, в форменной фуражке, замер на пороге:

— Мама! Вот хорошо, что приехала.

«Уже успели обрядить в форму», — неприязненно подумала Маргарита Сергеевна, подбежала к сыну, обняла его, разрыдалась.

— Ну, что ты, что ты, ма, — стал успокаивать Егор.

— Сыночек, — сквозь всхлипывания произнесла она, жалко заглядывая Егору в глаза, — разве я тебя не люблю?

— Любишь, конечно, любишь.

— Почему же ты меня бросил?

Через силу, едва слышно добавила:

— И отец надумал бросить.

— Как? — пораженно спросил Егор.

— Уходит... Стара я для него стала.

«А... это та самая», — зло подумал Егор. Подвел мать к дивану, осторожно усадил, ткнулся носом в ее вздрагивающее плечо. Жалость пронизала его, он едва сдерживался, чтобы тоже не разреветься.

— Ты пойми, мама, — он говорил с ней, как взрослый с ребенком, — пойми, я тебя никогда не брошу... Если ты меня по-настоящему любишь — не отнимай у меня училища...

— Но как же я одна?.. — словно бы смиряясь, покорно спросила мать.

— Я буду к тебе часто приезжать...

Вошел директор.

— Я остаюсь, — сказал ему Егор.

...Уже на перроне, поглаживая мать по плечу, он говорил:

— На каникулах будем вместе... А работать

приеду в наш город... Или квартиру поменяем... Ты не расстраивайся... Ну, пусть уходит... Разве ж я тебя оставлю...

4

Минуя Олений рог, степная дорога приводит в слободу Вишневую. Здесь до пятого класса жила Тоня Дашкова. Отец ее был механизатором, мать — учительницей в начальных классах. Может, именно поэтому Тоня пошла в первый «мамин класс», когда ей исполнилось шесть лет. Дома не с кем было оставаться.

Вишневая запала в душу Тони навсегда. Никли вербы над тихой речкой. Резвились на Плоской горе жеребята. У школьного здания горделиво высились тополя.

Пробравшись сквозь заросли терна, розовеющего шиповника, Тоня с подружками поднималась на курган, и перед ними открывался вдаль сосновый бор, подернутый синевой.

Рассказывали сказки сороки в чаще Журавлиного озера, где стволы деревьев — в память о разливах — так наклонились, словно падали, да приостановили падение.

А потом мать и отец переехали в районный центр — умерла бабушка, оставила им свой дом. Отец продолжал работать механизатором, мать поступила корректором в типографию газеты.

...Больше всего любила Тоня приходить к маме в крохотную типографию на главной улице и смотреть, как наборщица тетя Клава, сидя на табуретке в зальце, пропитанном запахом свежей краски, проворно выбирает пальцами буквы из касс, подгоняет их друг к другу.

Наверно, у каждого человека есть свой любимый запах. Просто не всякий думает об этом. У одного это запах талой воды, у другого — окалины в колхозной кузне, у третьего — осенних листьев в дальнем углу сада... Тоня полюбила запах свежей типографской краски.

Истинное наслаждение испытывала девочка, когда брала в типографии еще влажноватый лист газеты и первой в селе читала ее.

Только-только приподнималось солнце из-за реки, все еще спали, еще не знали, что их ждет утром. А она уже знала: возвратились люди из космоса, получила орден соседка, доярка Зина Плахотина.

Позже, учась в старших классах, Тоня все чаще думала: какое чудо — рождение книги. Что знают об этом люди? О таинстве появления на свет книги в типографии, обретения ею лица, одежды? Тоня начала читать книги о рождении книг. Ей стало ясно: только если делать книгу с душой, творчески — она принесет людям радость. Равнодушный, случайный человек выпускает книгу неряхой.

И вот, окончив десятый класс, решила Тоня пойти в училище, потом поработать в типографии. А там видно будет, может быть, позже и в полиграфический институт поступит. Ведь годы в училище засчитываются как рабочий стаж.

Подобно Алпатову, она еще летом отправилась «на разведку» в училище, узнала, что оно готовит наборщиков и печатников. Для себя Тоня облюбовала группу печатников.

В ее школьной характеристике написали: «Тру-

долюбива, общительна, вежлива. Хороший товарищ».

Прочитав эту строчку, Дашкова улыбнулась: ну и расхвалили! А что общительна — правда. Она никогда не понимала тех, кто говорил, что им скучно. Как это может быть скучно, если есть книги, люди?..

В училище жизнь и вовсе оказалась бурной. Достаточно поглядеть на объявления в вестибюле:

«Приходите в «Клуб интересных встреч», «У нас в гостях — молодые ученые университета».

Работали клубы «Эврика», «Подружка», «Будущий воин». Готовился конкурс чтецов.

Не больно-то заскучаешь, если этой скуки нет в тебе самой.

В общежитии Тоня жила с хорошими девочками. Мечтательный очкарик Галя приехала из Дагестана. Отец ее был машинистом депо, а мать приковали к дому дети — вместе с Галей их было восемь. После десятилетки Галя поступала на дошкольный факультет пединститута, но не прошла по конкурсу. Возвращаться домой «ни с чем» не захотела и, увидев объявление о наборе, — подалась в профтехучилище, в группу печатников, рассудив, что не будет обузой семье и получит, вероятно, неплохую профессию.

Галя немного робкая, очень обязательная, всегда и во всем готова прийти на помощь.

Другая девочка из их комнаты — жгучая брюнетка Дина, с полными губами, величавой походкой: павой идет, бедрами покачивает. Темная полоса, умело проведенная «тенью» вдоль верхних ресниц, делала разрез глаз ее необычным, похожим на лепестки черной розы.

Тоня считала себя по сравнению с Диной дурнушкой-Золушкой. И глаза у нее невыразитель-

ные, и не брови — полубровки, и нос слишком маленький, и почти нет бедер, а груди вовсе крохотные.

Правда, был у Дины один неприятный для Тони «заскок»: она не верила в чистоту отношений с ребятами, разговоры Дашковой об этом считала пустыми, наивными.

— Слишком ты начиталась классиков прошлого века. У наших милых мальчиков — иные песни...

Раз-другой обжегшись на доверительных беседах с Диной, Тоня стала избегать их.

...А как они пировали, когда мама привезла Тоне початки, арбузы, пирожки с тыквой в папину ладонь! А потом отец — он приехал на своих «Жигулях» — возил их по городу. Между прочим, когда подъехали к общежитию, на пороге стояли тот симпатичный парень-монтажник, что прошелся в библиотеке по поводу ее прически, и рядом с ним — еще один, тоже из группы монтажников, кажется, по фамилии Хлыев. У него льняные волосы, нежная, с розоватинкой, кожа лица, голубые глаза. Но если приглядеться, то заметишь и неприятную усмешку и какой-то обшаривающий взгляд, а слушать его вообще невозможно, девушек обзывает девками. Вот какой... херувим. «А ты, Дина, думаешь, что я уж такая дурочка-овечка, не могу отличить черное от белого...»

Как-то под вечер Тоня решила пойти прогуляться.

На бульваре с деревьев тек лист, трепетали, словно продрогнув в худой одежонке, осины, только липы упорно еще зеленели.

В самом конце бульвара заходящее солнце, подернутое маревом, походило на красновато-сизый уголек. В проемах меж стен деревьев виднелось темно-розовое небо.

Тоня присела на скамейку. Почему-то вспомнилась строчка из маминого письма, что в эту осень почти нет кизила, значит, будет снежная зима.

Подсел какой-то тип, источающий запах одеколона. В темной курчавой бородке сосулькой застряла сигарета.

— Скучаете? — поинтересовался тип, и Тоню как ветром сдуло со скамейки.

У спуска к реке она встретилась с тем монтажником, на которого до сих пор поглядывала издали. Он был в джинсовых брюках, синем свитере с оленем на груди.

— Меня все к реке тянет, — сказал он, как давний знакомый. — Вот, даже на ужин опоздал...

Тогда и Тоня спохватилась, что пропустила ужин.

— Ой, мне так есть захотелось! — призналась она.

— Минутку, — произнес парень и убежал.

Тоня в удивлении остановилась у низкой чугунной ограды, сшибой к реке. Монтажник исчез в дверях какого-то магазина.

Их училище возвышалось справа, на самой верхушке горы. Последние лучи солнца багряно осветили его окна. «Галя, наверно, хватилась меня, — подумала Тоня. — Ну, ничего, приду — объясню».

Издалека победно прокричала электричка. Вкрадчиво взывали портовые краны. Взбираясь в гору, нутужно ревел МАЗ.

Парень возвратился запыхавшийся, сияющий.

В одной руке он держал «городскую» булку, в другой — небольшой сверток.

— Будем ужинать! — объявил он. Усадив Тоню на причальную тумбу, развернул бумагу: — Колбаса — пальчики оближешь. Попросил нарезать...

Он разломил булку, протянул половину Тоне: — По-братски...

Уж до чего же, оказывается, вкусно, сидя на берегу, уписывать подобный «ужин». Хрусткий гребень булки очень душисто пахнет.

Речной ветерок отглаживал их головы, наносил запах дымка — на другом берегу палили старые камыши. В городе зажглись огни, и вверх по спуску протянулись веселые бусы фонарей. Пошел на посадку самолет, подмигивая рубиновыми сигнальными огнями.

Они съели все до крошки.

Парень вдруг хлопнул себя по лбу:

— Так мы ж еще не знакомы! Я — Антон.

— А я — Тоня, — рассмеялась Дашкова. — Все шиворот-навыворот получилось: сначала поужинали вместе, а потом уже представились.

Сверху донесся голос курантов, вызывающих песенку о городе.

Антону все больше нравилась эта девушка — и то, как естественно она себя держала, и тонкий голосок ее, и бесхитростные, ласковые глаза.

— Знаешь, я очень рад, что мы познакомились. — Он запнулся. — Ты — хорошая...

У Тони заискрились от неслышного смеха глаза.

— Я как-то прочитала, что в одном ирландском замке есть «камень лести». Стоит его лизнуть — и язык становится льстивым.

Ты думаешь, я его лизнул?

— Нет, просто давай не спешить с выводами...

Они еще долго бродили по набережной, улицам, рассказывали друг другу о себе. И скоро им стало казаться невероятным, что они прежде были незнакомы, и они уже не могли представить, что такой вечер не повторится...

Мастером в группе Дашковой был Севастьян Прохорович Горожанкин, кадровый типографский рабочий, сын и внук печатников, своими руками создававший чудо-миниатюры, делавший сложные наборы. Свинец и краска навсегда въелись в его пальцы, ладони, казалось, окрасили даже волосы на голове.

В Отечественную войну служил Севастьян Прохорович в дивизионной типографии. Случалось ходить и с автоматом в атаку. А после войны был, по необходимости, универсалом: наборщиком, печатников, работал и в цехе высокой печати, и в офсетном.

Он много читал, встречался с местными писателями, чьи книги выпускал. Сын его служил офицером в реактивной авиации, дочь была кандидатом медицинских наук, детским урологом.

Тоня сразу и бесповоротно признала в Горожанкине Учителя. Разве может молодость обходиться без них? Это и властители дум, высокие умы, эталоны духовные, Добролюбовы и Герцены. Но это и Анастасия Никифоровна, что обучала Тоню литературе в старших классах, светившаяся добром и мудростью. И вот здесь — Севастьян Прохорович.

У Горожанкина утиный нос, взлохмаченные

волосы, темные брови, снизу словно подбитые седой полоской, отчего казалось, что они с белой подкладкой, вислые плечи, походка вразвалочку, добрая улыбка. Говорил он так, будто делал перевод: с паузами, прислушиваясь. Но зато каждое слово обретало вескость, значительность.

— Зацепился за пень — простоял весь день, — досадовал Севастьян Прохорович. — Ленъ без соли щи хлебает...

И лучше не скажешь.

Вскоре после начала занятий Горожанкин пришел в класс, наверно, в лучшем своем костюме, с орденом Ленина на груди.

— Вот что, полиграфисты! — сказал он торжественно. — Вручу я вам сейчас, каждому персонально, постоянный пропуск в типографию. Не посрамите рабочее звание великой нашей профессии...

И наконец попалъ Тоня в настоящую типографию. Боги печатные! Да какой же домашней, кустарной была, оказывается, их сельская типография, сравнительно с этими цехами, наполненными совершеннейшими агрегатами.

В плоскопечатном цехе запах типографской краски был сладковатый, наверно, от цветных красок, в офсетном примешивался запах уксуса. Почему бы это?

А дальше книговставочная — здесь прикрепляют обложку.

В брошюровочном цехе пахнет клеем; старательно, энергично отбивает такт листоподборочная машина; делает из печатных листов книжную тетрадь фальцевальная. Возвышается позолотный пресс для переплетов. Склонились над листами копировщики-пробисты.

Загадочно притягивают к себе новейшие строкоотливные и фотонаборные машины.

Севастьян Прохорович водит девушек, щедро дарит им свое царство.

И неизменно Тоню сопровождает запах свежей типографской краски, запах ее детства, мечты и будущего.

Цехи походят на оранжереи. Девчата — такие же, как Тоня, Дина, Галя, только в брючных костюмах, веселых косынках, — управляют машинами, создают чудо, именуемое печатным словом.

— А это наш лучший ретушер, — останавливается Севастьян Прохорович возле мужчины лет сорока, с темными, лакового блеска, гладко зачесанными волосами и живыми глазами. — Владимир Иванович, как видите, воссоздает иллюстрации художника Верейского к «Тихому Дону».

Горожанкин ведет послушный табунок учениц дальше. В некотором отдалении от молодого рабочего в синем берете, с тонким лицом и бледными губами, почтительно говорит:

— Пробист. Михаил Семенович. Имеет знак «Лучший печатник республики».

Дина посылает «лучшему печатнику» лучезарную улыбку, чем смущает его.

Тоня задержалась у строкоотливной машины.

Девчонка с веселыми глазами под сросшимися бровями, в оранжевой костюмной паре, легким прикосновением пальцев к клавиатуре вызвала буквы, и они проворными свинцовыми каплями скатывались в желобок, вытягивались, словно на перекличку, ровной строкой.

Вот бы посмотреть наборщице тете Клаве!

В учительской, не в пример обычным средним школам, накурено и полно мужчин.

На этот раз среди них только одна женщина — преподавательница литературы Зоя Михайловна Рощина. Она всего три года как окончила университет, из нее еще не выветрилось что-то студенческое. Может быть, потому, что не успела выйти замуж, не обременена семьей, а возможно, это от живой натуры Рощиной, острого ее языка.

В училище Зоя Михайловна всегда приходит в лучших своих нарядах, как на праздник. Сейчас на ней белые туфли на высоком каблуке, пожалуй, слишком высоком для ее роста.

У Зои Михайловны зеленые, миндалевидные глаза, широкие губы, полная грудь при тоненькой талии, солнечные протуберанцы волос. Она не носит колец, брошек, ожерелий, свежее лицо ее не требует парфюмерных ухищрений.

Филолог Рощина одержимый: знает наизусть десятки поэм и сотни стихотворений, выпускает рукописный журнал, создала литературный музей. Этой зимой ее вызывали в Москву, на чтения в Академию педагогических наук и там советовали положить свой реферат в основу диссертации.

В горном деле есть выражение «обогащать руду» — Зоя Михайловна считала, что призвана не только давать завтрашним рабочим образование, но и обогащать, облагораживать их характеры, вызывать «эмоциональный подъем», «нравственное прозрение», по выражению Твардовского. Поэтому, ведя беседу о лауреатах Ленинской премии, она приносила в класс магнитофонную ленту с песней Расула Гамзатова «Журавли», а говоря о Теркине — показывала кинокадры о войне.

Рощина люто неавидела ученические сочинения, составленные из фраз, понадерганных из книг, и охотно, даже с ожесточением, ставила в таких случаях «комы».

Если чувствовала, что парень не любит читать «по программе», говорила:

— Читай просто, книгу за книгой, Горького, Есенина, Фадеева, а потом мы вместе разберемся.

Понимала, это в нем бунт против «школярства», и старалась разбудить живую мысль.

Алпатов признался ей вчера:

— Меня не интересуют дворянские переживания тургеневских героев...

Уж не от Середы ли это идет?..

Рощина сидела в углу учительской, прозванном «педоазисом», может быть, за особый уют, придаваемый лампой на овальном столике и удобными креслами.

Напротив покуривал Середа, глядел пристально, словно желая смутить. Рощина, прекрасно понимая нарочитость этого взгляда, отвечала насмешливой полуулыбкой.

— Известны системы, — ладонью подправив прическу у виска, сказал Константин Иванович, — капиталистическая, социалистическая и наша.

— Да, но в этой последней системе, вы, как «технар», ничего не видите дальше своей техники. У меня, например, хотя бы элементарно-уважительное отношение к вашей технике... — Она имела в виду, что сама водила «Москвич», даже делала несложный ремонт его. — А каковы ваши, так сказать, личные контакты, Константин Иванович, с литературой?

Он pokrивился:

— Читаю детективы...

— Не маловато ли для инженера, воспитывающего современную молодежь? Для стыковки специальных дисциплин с общеобразовательными?

У Середы отвердели губы:

— Хватает.

— Не густо, не густо. Ни тебе поэзии, ни тебе любви, — подтрунивая, раздражая его, с сожалением произнесла Рощина. Заметив, что взгляд Середы скользнул по ее груди, с вызовом скрестила руки. — Между прочим, коллега, учитель живет до тех пор, как уверяет Ушинский, пока учится. Вам говорит о чем-нибудь это имя?

Это было уже форменным издевательством. Середа посмотрел сердито.

— Вы знаете, сколько ошибок можно сделать в слове «конденсатор»? — не успокаиваясь, ошеломила его Зоя Михайловна. — «Кондинсатор», «канденсатор», «кондерсатор»... и так далее.

Середа невольно рассмеялся, белая полоска зубов сверкнула хищно:

— Ну, «конденсатор» я, пожалуй, напишу правильно.

— И добились этого, конечно, без нашей презренной помощи. А может быть, все же здесь, в училище объединить наши усилия?

— Я за объединение, — прищурился Середа.

«Прицепилась, чертова баба», — беззлобно усмехнулся он.

К ним подсел Севастьян Прохорович.

— Я вот, дорогие коллеги, все думаю о психологическом складе полиграфиста. Ведь есть такой!

Горожанкин посмотрел выжидающе, но ответа не последовало, и он попытался дать его сам:

— В нашем деле, прикидываю, надобны: усидчивость, повышенное внимание, цепкость глаза, точность движений. И хочется поскорее узнать,

есть ли все это у моих нынешних девчат? Годны ли они профессионально? Дине, к примеру, не хватает усидчивости. Гале — точности движений. Восполнимо? Или пороки органические? Начинаю присматриваться. Как быстро откликается на вопрос? Выполняет задание? Насколько осмысленно делает это? Скоро ли утомляется? Каковы интересы, склонности? Способность к самооценке?.. Мне надо поскорее «законтачить» с ними, выйти на откровенность. Передать свой образ мыслей. Помня, каким я был в их годы. Что ни говорите, а где лад — там клад.

Константин Иванович, старательно обходя лужи, возвращался вечером домой. Все же эта Зоя сумела разбередить его душу. Конечно, готовить «голого технаря» — мало для нашего времени. Да и старик Горожанкин задел за живое. Вот, думает о психологическом складе полиграфиста. Ну, а каким он должен быть, этот психологический склад, у монтажника? Повышенное бесстрашие? Расчетливая смелость?..

Серeda вошел в подъезд своего дома. Тускло светила лампочка на лестничной площадке. Константин Иванович открыл дверь английским ключом, зажег свет. Однокомнатную кооперативную квартиру он купил в прошлом году. Сначала с увлечением оборудовал ее, потом надоело и это.

«...Вероятно, прав Иван Родионович, упрекавший меня в недооценке контактов с родителями учеников. Мол, это от натуры идет. Собственно, я думал так: не младенцы. Не детский сад. Ну, надо иметь общие сведения о семье подростка: профессия, заработок. И хватит...

Но директор сказал: «Зачем нам лишать себя

еще одной опоры?» А если это не опора, а балласт? Вот взять моих нынешних...»

Константин Иванович переоделся в спортивный костюм, надел домашние туфли, включил телевизор. Передавали какой-то водевиль. «Это по Зоечкиной части». Он выключил телевизор. И вдруг подумал: «А если бы она стала моей женой?.. Но тут же отбросил эту мысль. «Чушь! Разбежались бы через неделю. По второму закону термодинамики. Самораспад.

Да, так вот о монтажниках нового набора. Ладный парень Дробот. Немного не хватает хорошей злости. Поздняеву — быстроты реакции. У Алпатова что-то мутное в семье, Иван Родионович об этом говорил. Утрясется и без моих визитов и душеспасительных бесед. А так, психологически, для монтажника подходит».

Хлыев попал к ним, очевидно, по недоразумению. Скорее всего, придется в недалеком будущем отчислять. Коробов и здесь жмет: «Вы поезжайте в его семью. Может быть, там у вас глаза на парня откроются». — «Эти визиты не по мне, — ответил он, — я пре-по-даю знания. Пусть Голенков разъезжает». Директор освирипел: «У меня складывается такое впечатление, что и работа в училище не по вашему характеру». — «Вам виднее», — с обидой ответил он.

Константин Иванович зябко передернул плечами, положил ладонь на батарею — холодная. Когда надо, дьяволы, не топят.

А и правда, не пора ли занять семью? В двадцать пять он думал: «Женюсь в тридцать, зачем раньше времени урезать права и увеличивать обязанности». Позже осторожно говорил себе: «Не буду торопиться». Но бобыльство становилось невыносимым.

Собственно, у него никого нет на белом свете. В полтора года потерял отца — погиб на Курской дуге; мать попала под бомбежку, умерла от ран. Брат нашел могилу в Северном море. Воспитывался Костя в детском доме.

«...Нет, с этим затянувшимся холостячеством я теряю себя».

Ему стало еще тоскливее. Подошел к бару, налил полстакана коньяку, вышел залпом, пососал лимон и, раздевшись, нырнул под одеяло. Зажег бра над тахтой, протянул руку к книге Стендаля с закладкой. Усмехнулся: «Вот бы Зоя удивилась, увидя меня за этим занятием».

Два года назад ездил он в Суздаль и, право же, Зоенька, интересовался там музеями, а не конденсаторами.

Севастьян Прохорович в этот час сидел дома за письменным столом, перелистывал «Дневник наставника». Вел для себя.

Жена подтрунивала: «Уж не в писатели метишь?» Нет, не в писатели, но осмыслить то, что делаешь, надо. Здесь собраны головоломки воспитания, записаны его раздумья. Это Даша шутит, а кама любит, когда он сидит над своими записками. Она ведь тоже мастер, готовит группу краповщиц из девчат с десятиклассным образованием, так что ей все эти заботы да тревоги близки и понятны. У них даже бывают «домашние педсоветы».

...Да, в напряженном ритме жизни полезно иногда остановиться и оглядеться, вдуматься. Или, как в сложной шахматной партии, неторопливо рассчитать трудную психологическую ситуацию на много ходов вперед. Разобраться: случайную

ли ошибку совершил человек или действовал во вред себе и остальным преднамеренно. Постепенно вводить в мир высоких идей, но поменьше «разводить мораль», как говорил Антон Семенович Макаренко. От назиданий да перстов указующих у молодых печенка заболевает.

И, конечно же, — относиться к ним доброжелательно. Но горе тому, у кого это доброжелательство напускное...

«Ну, девчата нынешнего набора у меня славные. Тоня Дашкова — лирическая. Тихоня с твердым характером. Упорством всего добьется. Галочка в училище попала случайно, но все же за полиграфию ухватилась. Правда, наше дело ей трудно дается, буду подбирать ей посильные задания, а когда поверит в себя — усложнять. Ничего — выходит. Дина своевольная, на людей иногда сверху вниз смотрит, но все же хороший человечек. Надо приложить все старания, чтобы удержать ее у нас, по-пустому не придирайтесь.

Самые придиристые наставники — самые плохие. Цепляются к пустякам, а «во вверенном учреждении» — беспорядок. Как у бездарных военачальников, для которых превыше всего — хлястик да крючок...

А что касается моих девчат, то относиться должно ко всем одинаково и... к каждой по-своему. Уважать личность. Но и требовать. Внушать — без рабочего человека, как поется: «самолеты не летают, пароходы не плывут». Ни тебе кибернетики, ни тебе космоса... Везде рабочие руки надобны. Но умные, творческие.

Мне сейчас что важно: поскорее составить собственное мнение о новичках. Иной раз приходят с отменной характеристикой, а на проверку...

В позапрошлом году говорю одной мамочке:

— Ваш сын курит.

Она в амбицию:

— Не может быть! Я, когда он спит, обнюхиваю его.

— Да. Курит. И потом еще: рыбу ловит, продает ее и деньги на водку тратит.

— Это кто-то другой!

...Так вот, о новом наборе. Они сразу и точно определятся в труде. Здесь уж никакого камуфляжа, внешнего наноса.

Был у меня как-то в группе Стасик Громов. Одиннадцатый ребенок в семье. Можно было предположить, что жизнь приучила Стасика к труду. На поверку же оказался редкостным лодырем.

И в ту же группу зачислили единственного сына из обеспеченной семьи. Думал: «Ну, неженка достался». Ничего похожего! Работал — загляденье. Значит, штампы да шаблоны воспитателю противопоказаны. Главное — учить быть человеком.

Вот пройдет немного времени, установим связь с родителями... Поработаем вместе... Для этого «указания сверху» вовсе не надобны. Буду родителям Гали, Дины открыточки слать. Мол, так и так идут у нас дела. Ваши ответы и пожелания весьма важны... И еще: надо в типографии рабочих попросить, чтобы по-отцовски опекали моих птенцов...»

6

Отец Гриши, Семен Семенович, решил взять на работе отгул и поехать к сыну: лучше один раз посмотреть, чем десять раз прочитать о ГПТУ в газетах.

В училище он получил разрешение директора побывать на уроке Середы. И когда Гриша после

перемены вошел в кабинет спецтехнологии, то увидал отца за последним столом, возле Хлыева.

Гриша издали несколько недоуменно кивнул отцу, но подходить не стал, чувствуя неловкость: его, как маленького, даже здесь опекают родители. Только шепнул Егору, сидящему рядом: «Батя пожаловал».

Константин Иванович, предупрежденный Коробовым, поздоровался с гостем, положил перед собой журнал, разрешил учащимся сесть.

Поздняев-старший пытливо оглядел класс. Цветы на подоконниках. Стенды с изображением монтажных работ и предостережениями: «Проверь исправность заземления», «Умей освободить пострадавшего от тока», «Работай испытанными грузоподъемными приспособлениями».

«Хорошо, что мать не видит эти надписи», — подумал он, протирая очки.

Еще проходя училищным стадионом, Семен Семенович заметил «высотников», тренирующихся на шестах, канатах и конструкциях из алюминия. «Грише здесь сноровистость дадут», — подумал тогда Поздняев. Но возникла и тревожная мысль, что сын избрал опасную профессию.

Рабочий стол преподавателя походил на пульт управления: магнитофон, динамики, выключатели, кнопки, сигнальные лампы. Сбоку «комбайна» смонтированы полки с чертежами, справочниками, какие-то приборы. И доски здесь особенные — сменные: наверно, то наматывались на валик, то разматывались, если нужен был заранее приготовленный сложный чертеж.

Преподаватель — молодой, скорее похожий на артиста — начал объяснение. В какой-то момент, словно сам собой, опустился экран, закрывая доску; сами собой задвинулись шторы на окнах, в

задней стене кабинета распахнулось оконце и застрекотал киноаппарат.

Потом шторы раздвинулись, доска открылась... Преподаватель нажал кнопку — загорелась светящаяся схема, нажал другую — на столах учащихся включились лампы.

— Возьмите карточки-задания с элементами программированного контроля.

Светловолосый мальчишка рядом с Поздняевым стал ворожить над карточками из цветного пластика.

Преподаватель спросил его:

— Разобрались, Хлыев?

Паренек приподнял левое плечо, неуверенно пробормотал:

— Разобрался. — Отодвинул волосы с уха, переключил у себя на столе тумблер.

Ответ, видно, пошел к столу преподавателя, а рядом с Семеном Семеновичем, как и на других столах загорелась радиолампа с цифровым индексом и выставленной оценкой.

Желтоволосый почесал затылок:

— Неверно ответил. — И, словно оправдываясь перед Поздняевым, добавил: — Аппаратура неточная.

«Ну, ну, неточная, — хитро поглядел на него Поздняев, — небось, у Гриши точная».

А преподаватель продолжал дирижировать группой:

— Подумайте...

— Порассуждайте...

— Давайте вместе сформулируем вывод...

— Советую вам сначала разобраться в схеме.

Говорит он на равных, но, пожалуй, немного суховато, отгороженно, что ли.

— Неясности есть?

Главные выводы предлагает записать.

Лица у ребят сосредоточенны, головы — каштановые, светлые, темные — склонились над столами.

«Пожалуй, нагрузку этим головам здесь дают побольше, чем в обычной школе, — прикидывает Поздняев. — А все же мой Гриша самый волосатый, — с огорчением отмечает он, — Сколько я дома воевал, чтобы подстригся, так нет...»

Но, заметив еще двух-трех тривастых, Поздняев успокоил себя: «Главное, чтобы в голове было». И даже остался доволен такой своей терпимостью.

В юности, работая на заводе чернорабочим, Семен Поздняев вечерами бегал на курсы чертежников-конструкторов. Там преподавали технологию металлов, сопромат, детали машин. Позже, когда он стал токарем высокого класса, все это очень пригодилось.

Но, батюшки! На каком уровне преподавали им тогда на курсах!..

По всему видно, что техническая революция вошла в это училище не на цыпочках, пугливо озираясь, а полновластной хозяйкой.

Семен Семенович протер очки и теперь стал разглядывать учащихся обстоятельно.

Рядом с Гришей сидит паренек с крутым за-
мылком. А позади — русый, в профиль похожий на Петровича из старого фильма «Цирк»: высокий чистый лоб, прямой нос, высокая шея. Преподаватель назвал его Дроботом.

Были здесь и модники, видно, не признававшие форму, а может быть, еще не получившие ее: в пиджаках с широкими планками сзади, похожими на усеченную пирамиду с двумя пуговицами; в куртках, с воротничками, выпущенными поверх, точь-в-точь, как у преподавателя.

К ножкам столов привалились портфели, чемоданчики разных калибров и цветов.

«Совсем взрослые», — с удивлением думал Семен Семенович, мысленно представляя, как он будет обо всем рассказывать дома жене.

Над училищем пролетел реактивный самолет, и гул его неясно пробился сквозь задребезжавшие стекла.

По небу ходили тучи глубокой осени, виднелась вдали приунывшая роща, окутанная туманом, зябли заводские корпуса. А в кабинете было тепло, уютно и чертовски интересно.

Гриша нет-нет да поглядывал через плечо, будто удостоверяясь, все ли отец примечает как следует, ничего не пропустил?

Преподаватель вызвал к доске Хлыева. Тот пошел неторопливо, всем видом своим говоря: «Зачем меня беспокоить? Напрасный труд».

У доски отмалчивался, руки складывал так, будто выходил голый из воды, голову ронял то к правому, то к левому плечу, словно она у него не держалась.

Фруктик! Воспитателям с таким не просто.

Весело, задористо прозвенел звонок. Мужской голос приказал по селектору:

— Учащийся Хлыев, зайдите ко мне.

Наверно, это его директор вызывал.

Лицо у мальчишки вытянулось. Он вышел из кабинета. Вслед за преподавателем повалили в коридор учащиеся.

Гриша подошел к отцу:

— Ну, как тебе наше ТУ? — не без гордости спросил он.

— Все в порядке, — скупое ответил отец, — я тебе пирог привез и варенье. Мама прислала.

— Зачем это? — стесненно сказал Гриша и по-

косился на Алпатова, стоящего рядом. — Познакомься — мой друг Егор.

«Ишь ты, уже и другом обзавелся», — с удовольствием оглядывая паренька с зализом каштановых волос над крутым лбом и широкими светлыми бровями на открытом лице, отметил Семен Семенович. Протянул руку:

— Приятно познакомиться. Приезжайте как-нибудь к нам в гости...

Теперь можно и жену успокоить, а то она заладила: «Там его вовлекут в дурную компанию». Вот материнские страхи!

Отнеся домашние гостинцы в общежитие, Семен Семенович пошел знакомиться с мастером Голенковым.

Петр Фирсович похвалил Гришу:

— Монтажник из него получится.

На просьбу Поздняева нет-нет да писать им, родителям, как здесь идут дела, мастер ответил:

— А как же иначе?

С преподавательницей Рощиной у Семена Семеновича тоже получился хороший разговор.

— У Гриши с грамматикой нелады, — сказала она, — но мальчик он старательный, наверстает... А так, в общении с товарищами — ровен, доброжелателен...

«Ну, это он в меня пошел, — подумал отец. — Род у нас весь такой».

— Внешне Гриша вроде бы замкнут, скрытен, — продолжала учительница. — На самом же деле, отзывчивый...

— Ваша правда, — подтвердил Поздняев, — в трудную минуту не подведет. Вы ему только общественные поручения чаще давайте. •

Зоя Михайловна улыбнулась:

— Постараемся...

Часов в шесть вечера Егор просматривал в общежитии серию тонких журналов в зелено-белой полосатой обложке.

Серия называлась строго: «Реферативная информация о передовом опыте» — и сразу привлекла в библиотеке внимание Алпатова.

Сколько монтажнику надо знать: разметку деталей, свойства металлов, сбор узлов, гнутье труб, электросварочные, вентиляционные работы, чтение схем чертежей, технику защиты от коррозии. Да разве все перечислишь.

Антон, стоя у открытой дверцы платяного шкафа со вставленным зеркалом, спросил:

— Жор! Может, все же пойдешь в школу?

В соседней средней школе проводили вечер, и девочки принесли в комитет комсомола училища пригласительные билеты. Дробот взял три. Гриши не было, он занимался в читальном зале.

Егор с трудом оторвался от статьи:

— Неохота. Иди сам, потом расскажешь.

Антон надел белоснежную рубашку с черным галстуком, темно-синий костюм и сразу повзрослел, стал еще стройнее. Лихо сдвинул набок фуражку с эмблемой — не то моряк, не то летчик. Жаль, нос прыщеват.

— Слава монтажнику! — бросил он Егору и скрылся, только каблуки легко простучали по длинному коридору.

...Гриша вспомнил, что Тоня — она в комитете комсомола ведала печатью — просила его написать для училищной стенгазеты статью о мон-

тажниках. «Журналиста нашла», — нахмурился Гриша. Вырвал из тетради двойной лист и бодро начал писать: «Мы, высотники, будем монтировать заводы, гидростанции, нефтяные вышки, трубопроводные магистрали, конвейеры и поточные линии...»

Круглое лицо его вспотело.

Прочитал и все перечеркнул. Жвачка. Надо совсем по-другому. Оказывается, статьи не так-то просто писать. И вообще жить не просто.

Вот люди, глядя на него, думают: «простачок», «чурка волосатая». А он не такой-то простачок. Знает, когда надо сделать вид, что ничего не заметил, не слышал, не понимает, а когда следует и показать себя, не дать в обиду, а то и оплеуху отвесить... в переносном смысле, конечно.

Хлыев сунулся было как-то к Грише со своим блатняцким балагурством: «Ну что, мужичок-хреновичок?» Поздняев его так отшил — кувырком летел, кепочку придерживая.

Антон думает, что он, Гриша, не видит: Дашкова ему нравится. Ну, и пусть думает. А девочка она неплохая.

И Егор — парень хороший, у него что на уме, то и на лице. Но вот в жизни беспечный: на последний рубль купит мороженого себе и ему с Антоном. Все-таки должна быть здоровая расчетливость. Не крохоборство, конечно. Петр Фирсович им об этом правильно говорил.

А другом Гриша умеет быть. Только не надо много о таком рассусоливать, главное — поступки... И не лезть без нужды в чужую душу с расспросами. Гриша догадывался — у Егора в семье плохо, но ведь не станешь беречь...

Статью все же написать надо.

...Антон пересек площадь, миновал театр и очутился у входа в школу.

В вестибюле суматоха и гам. Две девочки, постарше его, посмотрев на билет, на костюм, спросили:

— Наверно, из ПТУ?

— Да.

— Милости просим,—они сделали дурашливый книксен, — наверх и в актовый зал.

В зале стулья расставлены вдоль стен. На сцене ансамбль заиграл вальс, и какой-то пижон с бабочкой вместо галстука объявил:

— Дамы приглашают кавалеров!

«Гм... гм... в кавалеры попал», — подумал Антон, одергивая пиджак.

К нему подошла стройная девушка в коричневом платье с глубоким вырезом на груди, с широким поясом, подчеркивающим талию. Глаза у девушки смелые, даже дерзкие, и, кажется, немного подкрашены.

— Пойдемте.

Они закружились в вальсе. Оказывается, она учится в десятом классе, мечтает попасть в ГИТИС, ненавидит математику и свою классную руководительницу Индюшку. Довольно обширная информация для трех минут.

Все тот же пижон с бабочкой, подражая какому-то конференсье, произнес нараспев:

— Жюри успело избрать Королеву изящества — Ларису Валевскую!..

Он взял за кончики пальцев партнершу Антона и вывел в центр зала.

— И Рыцаря галантности, — он приблизился к Антону, рукой подвернул свое большое ухо к его губам, мотнул головой, — нашего гостя Антона Дробота!..

«Здрасьте-пожалуйста, в галантные попал».

«Королеве» вручили гвоздику, и Лариса приколола цветок к груди. Она покраснелась, еще больше похорошела. А Дроботу дали целлулоидного кролика; Антон, не зная, куда его девать, поставил на подоконник и «забыл».

Весь вечер они танцевали с Ларисой. Она то и дело прижималась к нему, жеманно спрашивала:

— Ты доволен своей дамой?

На что Антон вежливо отвечал:

— Еще бы, «мисс изящество»!

У него нарастала неприязнь к ней. Она, видно, все время помнила о своей красоте и неотразимости.

Часов около десяти Лариса сказала, скорее утверждая, чем прося:

— Ты, конечно, проводишь меня домой?

Они вышли на улицу. Прохладный ветерок приятно охлаждал лицо. Кончик оранжевой луны словно припаяли к стреле подъемного крана. Лариса взяла Антона под руку:

— У тебя есть сигареты?

— Я не курю.

— Что же это за мужчина, который не курит?! А где ты учишься?

— В профтехучилище...

— Гепетеушник, — разочарованно протянула она, — а я думала, ты студент.

Дробота покорибили тон Ларисы, пренебрежение, прозвучавшее в ее словах.

— Каждому свое.

— У тебя, должно быть, сильные рабочие руки. Правда? А вот и мой дом.

Они остановились у подъезда многоэтажного дома. Лариса повлекла Антона в тень деревьев, всем телом прильнула к нему.

— Так у тебя сильные руки?

Она будто охмелела — вся дрожала, ее горячие губы обожгли Антона.

Возвращался Антон в училище трамваем, на задней площадке почти пустого вагона. Его сильно раскачивало из стороны в сторону. Антон уткнулся горячим лбом в холодное стекло, глядел на убегающие рельсы.

Было жаль чего-то. Был противен себе.

Ведь Лариса ему совершенно не нужна, даже неприятна, а вот ее губы... лишили власти. Значит, и сам он такой.

Антону на мгновение представилась Тоня Дашкова с ее безыскусностью, милым голоском, чистыми правдивыми глазами. Припомнился вечер у реки. Теперь Тоня отвернулась бы, не захотела больше и словом переброситься, если бы узнала, какой он в действительности.

А может быть, он слишком строго себя судит? Конечно, Тоне он об этом случае не расскажет и никогда больше с Ларисой встречаться не станет.

7

После того как Егор уехал, Виктор Кузьмич все чаще и на работе и дома приходил к мысли, что нехорошо он тогда напоследок разговаривал с сыном и вообще мало интересовался его жизнью.

Признаться в этом вслух жене, а тем более Егору, Алшатов ни за что не признался бы — не тот у него был характер. А вот себе, долго ворочаясь перед сном, говорил: «Так его можно и во-

все потерять. Взрослый человек, а я к нему с такой меркой, будто он младенец. И в школе ни разу не был, и по душам не говорил. Получается — чужой я ему»

От этих мыслей Виктору Кузьмичу становилось горько, жалко себя. В свое время он так хотел сына, именно сына, чтобы продолжить алпатовский род, и сам же теперь отрезал живую ветку.

«У него характер, дай бог! — даже с нежностью, не свойственной ему, думал Виктор Кузьмич о сыне. — Упорный, трудолюбивый, несправедливости не терпит... А я останусь к старости бобылем. Маргарита что? Клуша. Вся в барахло ушла да в болезни. Больше придумывает их».

Жену он не любил. Просто свыкся с ней, стерпелся. Считал, что и у других так же — немного лучше, немного хуже, но так же. Живут, век проживают. Иного Алпатов и не представлял. И близость с женой радости ему не приносила.

Виктор Кузьмич осуждал блуд на стороне, разводы, считая все это баловством, когда с жиру бесятся. Даже гордился тем, что через несколько лет справит серебряную свадьбу. Некоторые его знакомые уже по два-три раза женаты были, а вот он, хотя порой и тошно было, в сторону не глядел.

А потом с Алпатовым произошла такая история, что предскажи ему такое кто-то год назад — не поверил бы, обругал.

По «горящей» путевке поехал он этим летом, впервые в жизни, в санаторий под Ригой, в Дубульты. Там нудился, все больше в бильярд играл.

До отъезда осталось уже три дня, когда стоял

он под вечер в беседке, глядящей из санаторного парка на залив.

Над морем, на горизонте, разгорался зловещий пожар заката. Почти нечувствительный к красотах природы, Виктор Кузьмич был поражен игрой и непрерывной сменой в небе оранжевых, зеленых, фиолетовых красок. Алпатов застыл перед этой картиной, словно бы притаился, как все деревья, птицы вокруг, как сам залив, повторяющий краски неба.

Желтая полоса прибрежного песка уходила в сторону Пумпури, по этой полосе двигались одинокие фигуры отдыхающих, словно тоже вовлеченных в первозданную игру красок.

Снизу, от залива к беседке, легко поднималась женщина в густо-алом брючном костюме — частица, оторвавшаяся от заката. Она остановилась на нижней ступеньке беседки и, переводя дух, улыбнувшись, общительно сказала:

— Ф-у-у, устала.

Ей было лет тридцать. Из разговора, какие на курорте завязываются легко, выяснилось, что миловидная, светловолосая Настя отдыхала в соседнем санатории и послезавтра уже отбывает.

«Жаль, что я познакомился с ней так поздно», — неожиданно подумал Виктор Кузьмич.

Настя призналась, что тоже скучала здесь. Она вот уже два года, как разошлась с мужем, работает чертежницей в заводском конструкторском бюро и приехала, так же, по «горящей» путевке профсоюза.

Сначала они гуляли по парку санатория «Балтика», потом пошли в ресторан «Юрмала» и скоро уже в один голос жалели, что так поздно встретились. Проводив Настю, Виктор Кузьмич неуклюже попытался ее поцеловать, но она лукаво и

ловко присела, ускользнув из круга его рук.

— Завтра в десять утра там же, в беседке, — скороговоркой сказала она и побежала к своему корпусу.

Возвратившись в палату и тихо, чтобы не потревожить соседей, улегшись, Алпатов долго не мог уснуть. Вспоминал фразу Насти: «Спасибо «горящим» путевкам», ее теплые пальцы, нежную шею с родинкой под сережкой.

«Вы не думайте, что я легкомысленная, — снова слышал он. — Вот, согласилась пойти с вами... Но вы сразу вызвали у меня доверие.. Вижу, вам тоже здесь одиноко. Почему же вместе вечер не скоротать?..» Она словно оправдывалась, и Алпатову это было приятно. «Нет, она не пустая вертушка, — думал он. — И ничего плохого нет в этом знакомстве».

...На следующий день в Юрмале был традиционный праздник начала лета.

По мостовой шли юные барабанщики-гусары. Ехали всадники в ярких национальных костюмах. Чинно двигались в белоснежных халатах и шапочках врачи, а в открытом с трех сторон кузове машины возлежал на столе «больной» с огромным термометром под мышкой. Танцевали гости из Чехословакии, Литвы.

Вслед за трубочистами в цилиндрах, с короткими лестницами, ехали, блестя касками, пожарники на красных могучих машинах. На широкой телеге что-то мешали огромными черпаками в котлах повара в высоких колпаках.

Развеселила кавалькада старых машин: с деревянными спицами колес, глубокими сиденьями, лоскутами разноцветных бортов. Все эти «форды», «крайслеры», «изотта-фраскини», «испано-сюизы», «паккард-седаны» создавали забавное и трогатель-

ное зрелище. Плыл сигарообразный, величественный даже в старости «роллс-ройс», астматически дышал в свои двенадцать лошадиных сил «уолсли», мягко катил открытый черный «пежо» и, во все роскошный, по давним представлениям, лимужин «даймлер» с четырьмя огромными фарами. За рулем «линкольн-зефира» восседал человек в клетчатом пиджаке, кожаной кепке с большим козырьком и ветровых очках начала столетия.

Все было празднично, необычно.

Перемешались в веселом, шумливом карнавале рыбаки в зюйдвестках и ботфортах, официанты в смокингах, зеленые «русалки», загорелые спортсменки. Играли духовой оркестр и старинный джаз-банд: с папиросной бумагой на гробешках вместо губных тармошек, с медными тазами взамен барабанов.

Алпатов и Настя шли в толпе. Виктор Кузьмич чувствовал себя удивительно молодым, подпевал хору, подпрыгивая, ловил в воздухе разбрасываемые с машин карточки-календари.

Настя покраснелась от радости, удовольствия, глаза ее сияли. Широконосая, с пухлыми скуластыми щеками, в голубом платочке, завязанном под подбородком, она походила на расшалившуюся матрешку.

Потом они плыли «ракетой» по Даугаве в Ригу, обедали в уютном загородном ресторанчике с какими-то средневековыми мечами и щитами на стенах, произносили тосты «за встречу», «за продолжение знакомства»... и вдруг выяснили, что приехали сюда из одного города и даже работают на одном заводе!

— Вот теперь я вспомнила,—ошеломленно сказала Настя,— что видела ваш портрет на доске Почета...

Ну, подумать только, как получилось!

Это было и подарком судьбы, но как-то сразу все и усложнилось.

Виктор Кузьмич еще прежде рассказал Насте о том, что брак его — случайность, и семья держится скорее на инерции, что ему надоело бесконечное накопительство, все эти кафели да люстры.

Теперь Алпатов уже не мог представить, что потеряет Настю. Давно поставил он на себе крест, смирился с семейной жизнью: безрадостной, как отбывание повинности. А с Настей ему было так хорошо!

На следующий, последний, день Настя, мучаясь раскаянием, говорила Алпатову с укором:

— Ну зачем это, зачем? Курортное приключение?..

Виктор Кузьмич поехал в аэропорт провожать ее, они обменялись адресами. Условились, что в тот же день, когда Алпатов возвратится домой, он позвонит Насте.

И правда, Виктор Кузьмич позвонил сразу же с вокзала, из автомата. Они начали встречаться, сначала в парке, потом у Насти. Она оказалась женщиной ласковой, хорошей хозяйкой, каждый раз кормила Алпатова чем-нибудь вкусным. Он словно заново родился на свет божий. Настя не предъявляла никаких требований, условий, сама все более привыкала к Виктору Кузьмичу.

А дома Алпатов говорил жене, что у него срочные вечерние работы, заседания. Маргарита Сергеевна скоро почувствовала неладное, начала его укорять, оскорблять, но дела этим не поправила. Тогда она выследила мужа, ворвалась в квартиру

Настя, учинила скандал. Алпатов объявил, что уходит, и перебрался к Насте. Она его успокаивала, говорила, что ничего ей не надо, пусть оставит жене и квартиру, и все, что сын у него взрослый и, как она понимает, самостоятельный, не пропадет.

Виктор Кузьмич и сам теперь думал, что Егор поступил правильно, выбрав ЦПТУ, он действительно парень решительный. И ему, Виктору Кузьмичу, в распоряжении своей судьбой незначем брать в расчет интересы сына, потому что жизнь пошла у каждого своя.

...Маргарита Сергеевна болезненно переживала разрыв с мужем. Она по-своему любила его, не могла примириться с утратой и ринулась, как ей посоветовала соседка Луша, тоже оставленная супругом, в партком завода (хотя был Алпатов беспартийным), в профком, к директору.

Но везде ей говорили, что они сами должны разобраться в своих отношениях, и Маргарита Сергеевна, проклиная всех («мужики мужика и поддерживают»), теперь больше всего была обеспокоена тем, не затеет ли Алпатов дележ имущества и квартиры. Был бы сын с ней, они бы, пожалуй, имели право на всю квартиру, а так, возможно, ее придется обменивать. Но об этом надо посоветоваться с юристом.

Да и взыскание алиментов — так ей представлялось — будет выглядеть по-иному, если сын окажется при ней. И, вообще, она не могла и не хотела теперь оставаться одна, любой ценой должна была возвратить хотя бы Егора.

Надо подослать к нему соседку — пусть скажет, что мать тяжело заболела, погибает. У мальчика доброе сердце, он ради нее все бросит.

Сначала Севастьян Прохорович проверил с помощью электронного миллисекундомера: у кого какая быстрота реакции, двигательная скорость. Первые навыки работы вслепую на клавиатуре наборных строкоотливных машин они получили на тренажере—столе с электроаппаратурой и клавишами линотипа. На экране сразу видны были результаты. Тоня эту премудрость освоила быстро, ее пальцы словно скользили по клавишам, нежно поглаживая их.

Мастер одобрительно похмыкивал, но советовал присматриваться и к операторам, управляющим наборными полуавтоматами, и к тем, кто на кодирующем устройстве готовит программу управления, и попробовать ручной набор.

— Все, доченька, сгодится, — убежденно говорил он. — Настоящий полиграфист, понимаешь, должен уметь набирать все виды текстов, править набор в гранках и полосах, самостоятельно регулировать строкоотливку, разбирать и собирать ее узлы... Как хороший шофер, знать свою машину!

Горожанкин показывал, как менять формат, кегль, переставлять магазины, перепускать матрицы, чистить клинья.

— Машина, Дашкова, любит ласку да уход и тогда будет тебе верна. А ежели, к примеру, ты на работу боком, а с работы — скоком, не жди ничего хорошего. Вот так-то, хоки-моки...

Это у Севастьяна Прохоровича присказка излюбленная. В хорошем настроении мастер говорил «хоки-моки», а в плохом или когда сердился — «моки-хоки».

— Во все времена, девочки, — внушал он, — полиграфисты были самой образованной частью

рабочего класса. А почему? Работа требует грамотности, вкуса, культуры.

Тоня была с мастером абсолютно согласна. Она облазила и цех цинкографии, где делали иллюстрации, и цех высокой печати, была у верстальщиков, но особенно долго задерживалась у печатных машин ПД-5. Вот где чувствовалась стремительность века! И любимый запах краски был здесь стойче. Хотя Горожанкин опустил ее с облаков на землю, сказав: «Запах этот вредный, моки-хоки».

...Сейчас Дашкова стояла возле Гали. Та, в синем рабочем халате, восседала на высоком вертящемся стуле, старательно набирала гладкий текст. Лицо у Галки сосредоточенно, она то и дело поддувает со лба темную прядку волос, и нет-нет да поглядывает торжествующе на подружку: мол, видишь, совершенно самостоятельно набираю, а думала — ни за что не сумею. Сколько мучилась...

— Интереснее было бы набирать сложный текст, — небрежно бросает она, — да Севастьян Прохорович велит: «Повремени». Ну, что же — придется.

Тоня улыбается: «Ишь ты, расхорохорилась».

— Севастьян Прохорович обещает, — говорит она подруге, — что к лету мы сами выпустим цветной альбом об училище.

Галя одобрительно кивает: мол, выпустим, — снова поддувает прядку волос и целиком уходит в работу.

«Надо будет, — решает Тоня, — макет альбома составить с выдумкой и написать текст к фотографиям. Может быть, конкурс объявить?.. Альбом тоже будет вербовать новичков. Пойду-ка еще разок в печатный цех».

...После типографии Тоня пошла в парк, при-
мыкающий к училищу.

Аллеи стояли в осенней сонливой задумчивости. Коричнево поблескивали на взрыхленной земле по бокам дорожки широкие листья клена.

«Я где-то читала, — думает Тоня, — что напечатанное слово тоже будто подвержено закону притяжения. Если слово настоящее, оно легко отрывается от бумаги, западает в душу. А если тусклое, стертое, так и остается на бумаге. Может, я потому и люблю так запах свежей типографской краски, что хочу встретиться с настоящим словом».

Тоня вышла к озеру. В прозрачной воде отражались деревья, еще неохотно роняющие каждый лист, голубел домик для лебедей, желтовато багровели кусты скумпии. Гургукали светло-коричневые, с розоватым оттенком, голуби. У одного из них была черно-белая каемка на шее и такая же полоска на хвосте. Солнцу удалось пробиться сквозь облака и превратить заросли можжевельника в глыбы красного золота.

С гиком промчались мальчишки, скрылись за поворотом аллеи.

«Не обманываюсь ли я, — спрашивала себя Тоня, — есть ли на свете такая любовь, о какой писал в «Гранатовом браслете» Куприн, ради какой принимала муки Аксинья?.. Есть! Конечно, есть!»

Листья под ногами нашептывали свою поэму об осени, о красоте жизни без пошлости и грязи. «Мне хочется, — говорила Тоня себе, — порядочно походить на Севастьяна Прохоровича. Узнать секрет его отношения к людям».

Необузданная Динка как-то в общезжитии спросила мастера не без вызова:

— А, простите, обеспечит ли меня материально профессия полиграфиста?

Севастьян Прохорович поглядел на Динку изучающе:

— Не торопись, печатница, деньги считать. Торопись, моки-хоки, научиться работать. Потому что человек в жизни дважды рождается. Второй раз — когда начинает трудиться.

Поинтересовался, увидев на горле у Дины согревающий компресс:

— Это, Краева, у тебя что такое?

— Вульгарная ангина...

— Вылечу тебя враз, — пообещал Севастьян Прохорович, — только дома сиди. Я через час возвращусь.

И действительно, минут через сорок — он жил недалеко — принес в стакане какую-то настойку:

— Вот выпей.

Дина послушно выпила, на глазах у нее выступили слезы:

— Фу-у!

Мастер хитро сощурился:

— Имею личный патент: две столовые ложки кипяченого меда и две столовые ложки водки...

На следующий день ангины как не бывало.

Еще утром, в вестибюле училища, Тоня прочитала, что сегодня в клубе диспут: «Какое чувство ты считаешь самым высоким?» Здесь же приложены были и вопросы: «На чем основывается любовь? Могут ли существовать вместе любовь и гордость? В чем красота отношений?»

Тоня спросила Дину, пойдет ли она в клуб. Дина скривила полные губы:

— Шумим много... А болтать о любви, милый цыпленок, не рекомендуется.

Вот опять тон многоопытной, хотя Тоня дала

бы голову на отсечение — Дина придумывает свой опыт.

Как-то в минуту откровенности она сказала, что считает величайшей пошлостью близость без любви.

— А любви у меня не было. В целях профилактических, могу поделиться с тобой одной историей. Я училась в десятом классе. Моя подруга — дочь пианиста — пригласила как-то к себе на вечеринку. Здесь оказался и знаменитый молодой скрипач... Фамилию его называть не хочу. На вечеринке этот заезжий талант отчаянно ухаживал за мной и назначил свидание на завтра в гостинице. Я надела платье-хитон, узорные чулки, начернила ресницы, брови и отправилась... Ну, что тебе сказать? Он пытался подпоить меня, потом стал расстегивать хитон. Получил вполне заслуженную и достаточно увесистую пощечину и не осмелился меня удерживать, когда я уходила, предварительно выразив удивление, как может подонок быть избранником музыки.

Вот такая Динка! А бесшабашность и нигилизм просто напускает на себя. У нее сейчас, кажется, жених, журналист Леня. Тоня спросила:

— Ну и что будет с Леней?

— Если чувство его настоящее, — очень серьезно ответила Дина, — оно не выветрится за год-полтора. А я получу профессию. Неинтересно быть только женой, хотя бы и журналиста. Это — не уважать себя.

Как-то Севастьян Прохорович сказал ей:

— Ох, боюсь, Краева, бросишь ты нас, выскочишь раньше срока замуж.

— Не бойтесь, — успокоила его Дина, — если я «выскочу замуж», даже за министра, то сделаю это не раньше, чем приобрету собственное лицо.

— Хоки-моки! Ответ достоин полиграфиста!— довольно воскликнул мастер.

А Тоня еще тогда подумала: «Интересно, что привело Дину именно сюда?»

...Мать у Дины была поваром в ресторане, а отец слесарем. Когда девочке минуло пять лет, отец уехал на Сахалин, откуда двенадцать лет не подавал о себе вестей. Мамины привязанности легко менялись, и, может быть, поэтому у Дины появилось недоверие к роду мужскому.

На исходе десятого класса получила она письмо от «папочки». Он писал, что «сильно соскучился», что «хотел бы встретиться». Дина ответила зло, мол, не знает гражданина, имя которого обозначено на конверте, а с незнакомыми встречаться не намерена.

Ночь проревела.

Как попала она в полиграфисты? Подумывала и прежде: хорошо бы научиться выпускать детские книги. Даже не могла объяснить, почему именно их. Может быть, потому, что они были ее единственной радостью в детстве.

Дина понимала, что в институт ей после средней школы не попасть при ее весьма тусклом аттестате и жиденьких знаниях. Правду сказать, училась она, особенно в двух последних классах, весьма посредственно: начались вечеринки, гулянки, появились кавалеры, с которыми она расправлялась лихо, но любила и поводить за нос.

Две недели тому назад в училище, в группу полиграфистов, пришла в полном составе типографская бригада печатников и начальник смены.

Рассказывали о своих делах, расспрашивали ребят.

Вот тогда Тоня и надумала пригласить ещё и директора полиграфического комбината Павла Павловича Карпенко.

Иван Родионович, когда она пришла с ним посоветоваться, с сомнением покачал головой:

— Не придет. Мы его не раз приглашали. Занят и занят...

— Но все же можно нам самим попробовать?

— Ну, первопечатник Иван Федоров вам в помощь!..

Тоня потому так настаивала на встрече с директором полиграфического комбината, что они с Севастьяном Прохоровичем уже побывали там.

Цех ротационной офсетной печати занимал... три этажа — такого роста были машины — восьмикрасочные «Маринони». Печатники, словно матросы по вантам, взбегали крутыми лестницами на верх агрегата.

Играл на пультовых кнопках бригадир. Поточная автоматизированная линия «Колбус» выпускала книги.

Выныривали многокрасочные школьные учебники, журналы. Их расцветка соперничала с живыми цветами в цехе.

В отделе программированного набора восседали полиграфисты последней четверти двадцатого века. Поражало воображение фотоотсчитывающее устройство.

...Галя и Дина охотно согласились идти вместе с Тоней к директору комбината. Севастьян Прохорович разрешил отпечатать в одном экземпляре именной пригласительный билет с виньеткой и золотыми буквами.

...Узнав по телефону, когда Павел Павлович будет у себя, подруги трамваем поехали к нему, Тоня и Галя волновались, а Дина спокойно раз-

глядывала только что купленный проездной билет: не равнялась ли сумма первых трех цифр сумме трех последних? Ничего похожего. Неужели неудача? Тогда она загадала по-иному: вот трамвай остановился у светофора. Если он двинется раньше, чем она досчитает до тридцати, все будет в полном порядке. Дина добралась до двадцати пяти, а оставшиеся пять чисел разбавляла долгими интервалами. Когда досчитала до двадцати девяти, трамвай тронулся.

...В приемной директора немолодая секретарша поинтересовалась у делегации:

— Вы кто?

— Мы из ПТУ, — сказала Тоня.

— Тогда, может быть, пройдете к заместителю директора?

— Вопрос чрезвычайной важности, — вздернув черноволосую голову, произнесла Дина, — и касается лично директора.

Она решительно открыла дверь в кабинет Карпенко.

Павел Павлович в это время говорил с секретарем партбюро о кадрах полиграфистов на комбинате. Уходили на пенсию ветераны, все труднее становилось закреплять надолго молодых: производство не безвредно для здоровья, не хватает мест в общежитиях. Вот и идет утечка — прямо беда!..

Увидя вошедших девушек, он спросил нетерпеливо:

— Вы ко мне?

Тоня выступила вперед, сказала тихим голосом:

— Да, Павел Павлович, — и протянула ему пригласительный билет.

Директор поднялся, пробежал билет глазами.

Был Павел Павлович невысокого роста, подстрижен под ежик, очки в широкой оправе, казалось, занимали все маленькое лицо.

Он приятно удивился.

Снял и снова надел очки.

— Когда встреча-то у вас намечена? — спросил после небольшой паузы.

— Если можно — завтра, в девятнадцать ноль-ноль.

Павел Павлович полистал блокнот на столе.

— Буду.

Выдвинул ящик стола, пошарил в нем. Извлек три значка, выпущенные к пятидесятилетию комбината, протянул девчатам. Но этого ему показалось недостаточно, и он оглядел кабинет: что бы еще подарить?

Взгляд его остановился на небольшом бюсте первопечатника Ивана Федорова.

Павел Павлович подошел к бюсту, снял его со шкафа и передал Тоне:

— Молодым полиграфистам!

Когда девчонки ушли, сказал парторгу, словно оправдываясь:

— Разбредили старика...

Полиграфисты училища собрались вечером в своем кабинете. В углу на высокой темной тумбе стоял подаренный бюст.

Карпенко, сопровождаемый Коробовым, переступил порог и прищурился от яркого света ламп. В просторной комнате с двумя широкими окнами, стенами, окрашенными в салатный цвет, понижу забранными деревянной облицовкой, сидело несколько десятков молодых людей. На одном из столиков — за ним Павел Павлович при-

метил девочку, что вручала ему пригласительный билет, — лежал учебник «Технология типографского печатания» в знакомом сером переплете. И еще один — «Основы экономики». Это, кажется, о режиме экономии, планирования и НОТе.

С интересом разглядывали и собравшиеся Карпенко. На пиджаке его несколько рядов орденских планок.

— Ну, что ж, дорогие коллеги, — начал гость очень мягким домашним голосом, — позвольте рассказать вам, как НТР входит в наше дело и что принесет она вам. Не возражаете?

Тоня старается не упустить ни одного слова из рассказа директора.

Значит, их ждет электронное оборудование, наборно-программирующие устройства, читающие автоматы, цветные клише. Начался выпуск фотоавтоматов, скоростных офсетных машин, цветокорректоров. Автоматизируются переплетные линии.

— Потребуется операторы, — говорит Карпенко, обращаясь словно бы к одной Тоне, — знающие техническое редактирование, культуру верстки. Они будут создавать оригинал-макеты.

«Да, но где осваивать эту технику? — озабоченно думает Тоня. — Разрешит ли Карпенко проходить практику на комбинате? С примитивным ручным трудом в третье тысячелетие не войдешь. Нужны почти инженерные знания!..»

Она потом и задала этот вопрос Павлу Павловичу. Он несколько секунд обдумывал ответ, сказал, как о деле решенном:

— У нас.

Уже одеваясь в кабинете Коробова, Павел Павлович, словно осуждая Ивана Родионовича, сказал:

— Вы бы меня почаще приглашали...

— Да уж в обиде не будете, — пообещал Коробов.

9

По дому Егор все же скучал. Письма от матери приходили редко, наполнены были слезами, просьбами вернуться.

После таких писем Егор ходил сумрачный. По ночам ему снился их город в зелени парков, белые чайки и море, а на главной улице, у весов с надписью: «Стой! Проверь свой вес!» — очень полная женщина, мать одноклассника Леньки Шпалова. Они всегда остряли: «Для нее делений не хватит».

Перед ноябрьскими праздниками в училище приехала соседка Алпатовых тетя Луша — суевливая, говорливая, с бегающими глазками на жирном лице. Вызвав Егора из общежития на улицу, зачастила таинственным шепотом:

— Егорushка, беда! Большая беда! Матери твоей совсем плохо. «Скорая» так и дежурит возле нашего дома. Очень просила мама тебя приехать... Не опоздал бы...

Егор и так собирался на праздники домой, но теперь ехать следовало немедленно. Он бросился искать Петра Фирсовича, не нашел и отправился к директору. Иван Родионович, выслушав очень расстроенного парня, разрешил уехать сегодня же, хотя про себя подумал: «Возможно, это психическая атака мамочки».

Река в этом году стала рано, и Егор с тетей Лушей сели в электричку. Всю дорогу соседка нашептывала, как мать тоскует по нему, какая она,

больная, несчастная — и злобно об отце: «Милуется с молоденькой, совесть потерял...»

Они приехали под вечер. Дверь мать отворила не сразу. Егор поразился ее виду: с компрессом на голове, нечесаная, в мятой ночной рубашке, она действительно выглядела забытой, несчастной, очень больной.

Припала головой к груди сына:

— Приехал, приехал... — бормотала сквозь рыдания, — сядь, сядь... Нагляжусь на тебя...

Руку она держала на сердце, будто боялась, что оно выскочит. Едва передвигая ноги, подошла к серванту, накапала в ложечку из пузырька — по комнате разлился запах валерьянки. Запила водой, под села к сыну:

— Вот так... гибну, — страдальчески поглядела на Егора бесцветными глазами, — только ты, Георгий, можешь спасти меня... Я не знаю, что говорить в универмаге... Вы все меня бросили... Ты знаешь — я сойду с ума.

Да при чем тут универмаг? Матери очень плохо, у нее нет опоры. И предательство — оставить ее в таком положении одну. Он же не то, что отец, и должен принести себя в жертву. Пусть все рушится — мечта, так понравившаяся жизнь в училище, — он не оставит мать.

— Хорошо... Я вернусь, — через силу произнес Егор и, представив, что бросает Гришу, Антона, Середу, Ивана Родионовича, ужаснулся. Но слово было сказано, и отступать нельзя.

— Правда, родной?! — порывисто обняла его мать, стала гладить по голове дрожащей рукой. — Я знала, знала... Ты больше туда не езди. Документы они тебе пришлют...

— Так нечестно. После праздников я съезжу!.. Попрощаюсь, объясню.

— Ну ладно, попрощайся, а я сейчас тебя накормлю.

— Нет, есть мне не хочется. Я лягу...

Егор сделал вид, что заснул, но не спал всю ночь, прощался с тем, к чему прирос душой. Пытался успокоить себя:

«Подумаешь, трагедия. Закончу десять классов, отслужу, и все равно приду в училище... дембелем...»

Были в училище такие ребята, уволенные в запас из армии. Они получали высокую стипендию, усиленно изучали иностранный язык, потому что предстояло работать монтажниками и за границей.

В училище он возвратился десятого ноября. Еще висели праздничные лозунги, флаги в железных бордовых манжетах у входных дверей.

Звонок на урок был не для него. У кабинета монтажников Егор дождался Антона, Гришу, сказал им:

— Забираю документы. Мать больна...

Антон опешил:

— Да как же это...

Гриша обнял, произнес взросло:

— Ты не убивайся. Я к тебе на каникулы приеду.

Круглое, обычно простодушное лицо Гриши сурово, глаза смотрят сочувственно. Ох, Гриша, Гриша, друг истинный. Не говорун, а всегда находит самые нужные слова.

Как-то сидели рядом, фильм о войне смотрели, и вдруг Гриша повернулся к Егору: «С тобой я б в разведку пошел». Признание это было Егору дороже длинных речей.

...Проходили мимо кабинета ребята: узнав, в чем дело, сочувственно пожимали руку. Егору хотелось зайти в последний раз вместе с ними, сесть рядом с Гришей. Но зачем растравлять себя!..

Петр Фирсович, оказывается, болел, и Егор разыскал в кабинете литературы Середу. Он о чем-то оживленно беседовал с Зоей Михайловной. Сообщение Алпатова Константин Иванович воспринял так, словно речь шла о пустяке.

— Ну, что ж. Пиши заявление на имя директора, бери у старшего мастера «бегунок» и марш-марш — отмечай.

Серeda хотел продолжить разговор с Зоей Михайловной. Но Рощина вдруг вскочила, подбежала к Егору:

— А может быть, мама еще выздоровеет? Может быть, ты возьмешь академический отпуск?

И правда, об отпуске он не подумал. За это время и квартиру обменяли б, и переехали с матерью сюда.

— С отпуском дело сложное, — вмешался Серeda.

Можно было подумать, он торопится закончить неприятную для него сцену.

Егор сказал:

— Нет уж, какие отпуска. Спасибо, Зоя Михайловна, за все...

— Крепись, Георгий. — Она по-матерински привлекла его к себе. — Жизнь ведь не сплошной асфальт, а и ухабы. Но ты выйдешь на свою орбиту. Я это твердо знаю. Помни, что здесь твои верные друзья. — Она обернулась к Серede: — Простите великодушно, Константин Иванович, мне хотелось бы поговорить с Алпатовым.

Серeda оскорбленно встал:

— Не буду мешать...

Вышел из кабинета.

Рощина начала подробно расспрашивать Егора, что же произошло. И он, как самому близкому человеку, рассказal обо всех своих горестях: об отце, о неуютном доме их, о том, как плохо матери и тяжело ему.

Говорил и чувствовал, что ему становится легче, исчезает безысходность. Видно, то, что накопилось внутри, ждало выхода. И теперь он не так мрачно, как в ночные часы бессонницы, воспринимал горькое испытание.

А Зоя Михайловна успокаивала:

— Ты только начинаешь жизнь... Ты человек волевой, с ясной целью. Все одолеешь. Прошу тебя — пиши...

— Если можно...

— Непременно!.. Дай-ка твой адрес.

Она достала книжечку с алфавитом и на первой странице записала адрес Егора.

10

После праздничной демонстрации вышло еще два свободных дня, и Тоня, надев форму — темное пальто с «ясными» пуговицами и шевронами на рукавах, — автобусом поехала домой.

С удовольствием прошлась она по главной улице села, здороваясь со знакомыми, школьными приятелями, соседями. Ее расспрашивали, как она там живет, чему их учат, и Тоня с готовностью рассказывала об огромном полиграфическом комбинате, на котором они теперь часто бывают, о новом оборудовании, что пришло и для них, о классных занятиях, о Севастьяне Про-

хоровиче с его «хоки-моки» и умением лечить кипяченым медом ангину.

Но умолчала о том, что ее выдвинули на стипендию ЦК комсомола, — не хотела хвастать.

В общежитие Тоня возвратилась с сумкой, набитой яблоками, печеночным паштетом, жареной курицей. Как всегда, поделилась с Галей и Динной «домашностью», как она говорила.

Девочки сразу же убежали в кино, — заранее взяли два билета, не зная, что их подруга возвратится, — а Тоня стала наводить порядок: их комната считалась по чистоте лучшей. Тоня состояла в совете общежития, недавно отчитывалась на комитете комсомола о работе активистов: как проходят дежурства, утренняя зарядка, политбеседы, информации, заседания «Круга чести», куда вызывают провинившихся.

Хлыев уже побывал на этом «кругу». Ему изрядно досталось за то, что затеял азартную игру в карты.

В общежитии свой мир: с традициями, старыми и новыми, со смотрами, сборами совета, приплыми воздыхателями, бренчащими под окнами девчат на гитарах и распевающими серенады, с футбольными болельщиками у телевизоров. Есть и любимые уголки: в зальце, за кадками с мандариновыми деревьями, девчатам хорошо шумуется; в шахматной комнате со стенной мозаикой, изображающей космонавтов, то и дело проводятся блицтурниры.

Есть в общежитии свои неписанные законы: не трепаться без толку по телефону, но и не стоять над душой у говорящего, а на почтительном расстоянии ждать очереди.

В бытовке для глаженья вещей действовать

проворно; не забывать вешать на доску ключи от своей комнаты; не перепоручать никому дни своего дежурства.

И еще есть привычка: например, десять раз в день проходишь в вестибюле мимо столика с письмами, и каждый раз рука сама тянется перевернуть конверты. — нет ли тебе?..

Тоне Дашковой в совете общежития поручили «пресс-центр» — стенгазету, подшивки, доску информации. Она затеяла шуточный спецвыпуск газеты «Будущие профессии»: об оленеводерадисте (на рисунке — радиомачта на рогах оленя), о кочегаре-операторе (сидя в кресле, он нажимал кнопки)...

На кровати у Галки постепенно восседал подаренный ей недавно, в день рождения, мохнатый мишка. Бусинки глаз его поглядывали смущенно, нос из кусочка лакированной кожи казался влажным. Тоня подмигнула мишке: ничего не имеешь, если я займусь уборкой?..

Повязав волосы косынкой, она влезла на подоконник, открыла окно и стала протирать стекло.

С высоты четвертого этажа хорошо видно Заречье. Из-за молодого леса возшла огромная, словно прозрачная, луна. Самолет оставил на предвечернем высоком небе дрожащий белый след, и казалось, что это от луны струится зыбкий луч.

Внизу виднелись поликлиника, приземистые корпуса учебных мастерских, светлая коробка фабрики-кухни.

Свежий, почти зимний воздух холодил лицо. Тихо, словно вдалеке, играло в комнате радио. Тоня стала подпевать ему.

...Котька Хлыев, притаившись в конце коридо-

ра, проследил, когда ушли Дина и Галя, крадучись подошел к их комнате и приоткрыл дверь.

Тоня стояла на подоконнике спиной к нему, нагнувшись. Загорелые тонкие ноги были высоко обнажены.

Хлыев прикрыл за собой дверь, она скрипнула. Тоня выпрямилась, оглянулась. Увидев лицо Хлыева, вскрикнула:

— Ты что?!

Он крутнул ключ, запирая дверь, и сделал шаг к девушке. Тоня, выпрямившись еще больше, с гневом крикнула:

— Не подходи! Брошусь из окна!

В ее фигуре, глазах было столько решимости, что Хлыев подумал: «Психа ненормальная, и правда выбросится». Он отпер дверь, скривил губы:

— Че, зазнобило? Шуток не понимаешь, — и вышел в коридор.

Тоня соскочила с подоконника, подбежала к двери, заперла ее; бросившись лицом в подушку, разрыдалась:

— Животное, животное, подлое животное, — всхлипывала она.

Волосы ее разметались. Наволочка сделалась мокрой от слез.

Тоне стало холодно. Она подошла к окну; закрывая его, невольно посмотрела вниз. Еще бы секунда, и она валялась на мерзлой земле искалеченной, может быть, мертвой... Тоня снова разрыдалась от омерзения, бессилия, что почувствовала тогда, от жалости к себе, представив, как приехали бы родители, как убивалась бы мама.

Немного успокоившись, продолжала уборку. «Неужели и в Антоне сидит животное? — с тревогой думала она. — Нет, не может быть. Но в

Последнее время он какой-то невнимательный, вроде бы избегает меня... А может, я это придумала?»

В дверь постучали. Тоня вздрогнула:

— Кто там?

— Киношницы, — раздался голос Дины. — Ты чего заперлась?

Тоня впустила подруг, рассказала, что произошло. Но постаралась все смягчить: умолчала, что Хлыев запирает дверь, что она хотела выбраться.

Галя замерла, оцепенела, а Дина, снимавшая, как чулок, сапог на высоченной платформе, недобро сузила темные глаза.

— Жаль, что не на меня этот тип нарвался, я бы из его личика бифштекс сделала. Или поручила бы эту грязную работу Лёне.

Леня нет-нет да появлялся у них в комнате, к большой тревоге комендантши, усматривавшей в этих визитах опасность для нравственного климата общежития.

Дина в последние недели ходила с затуманенными глазами, говорила удивленно: «Так не бывает». Видно, еще не верила своему счастью.

11

После того как Василия Кудасова досрочно освободили, он устроился на работу в домоуправление слесарем. Работа не ахти какая, но выбирать не приходилось, следовало подумать и о жене Наде, сыне Гошке.

Работать можно было, да вот компаньоны Василию попались, как на подбор. Для них всегда дважды три — пятнадцать.

Когда этой братии в какой-нибудь квартире говорили «спасибо», они отвечали: «Зачем спасибо, если есть поллитры?»

Надя сразу же стала просить:

— Уйди ты, Вася, от этого сброда. Разве ж такая работа по твоей квалификации?

И еще — были оскорбительны подачи жильцов. Как холую на чай. Недавно Кудасов попал по вызову на квартиру к пожилому писателю. Подкрутил водопроводную гайку, всех-то и дел. А писатель трояк сует. Спрашивается — за что? Василий посмотрел на этого беспомощного человека с осуждением:

— Я ж на службе, а вы меня обижаете...

Писатель почему-то пришел в телячий восторг, засуетился, начал дарить ему свой роман. Роман Василий принял, только попросил:

— Надпишите моей жене Наде. Она знает, как любит читать...

Однажды Кудасов сам позвонил Коробову. Когда Иван Родионович стал наводить о нем справки, управдом дал отменный отзыв:

— Лучший наш слесарь. Никаких к нему отрицательных претензий.

Вот тогда Коробов и вызвал Василия к себе.

Сейчас Кудасов ерзал в кресле перед ним, а Иван Родионович не торопился начать разговор. Какой ты, Василь?

Был в войну пятнадцатилетний Вася Гусев, что окончил в сороковом году ФЗО при Кировском заводе, а вскоре создал ударную фронтовую бригаду на Челябинском тракторном. Через год наградили Василия Васильевича орденом Ленина, песню о нем сложили. И разве мало было таких Василиев Васильевичей! Пять из них повторили подвиг Матросова, двести пятьдесят стали Героя-

ми, другие возрождали Сталинград, Донбасс.

Но что же ты за человек, Василий Кудасов? Можно получить и высшее образование, а остаться даже без начального воспитания.

— Вот что, Василий Васильевич, — наконец сказал директор. — Если хотите, могу взять вас с испытательным сроком дежурным сантехником. Работа с перспективой...

— Да я... — даже привстал в кресле Кудасов, и на его худом лице можно было прочесть готовность тотчас же приступить к делу, — с милой душой!

— Вот и договорились. Только чтобы душа действительно была милой.

Ему почему-то припомнился такой эпизод из биографии «тепетеушника» Кудасова.

Тот жил на третьем этаже общежития, а девчата на втором. И придумал Вася хитрый способ для передачи «телефонограмм»: клал записку в спичечную коробку со свинцовым грузилом, опускал на нитке, и, качнув, стучался в окно девчат.

Однажды «легкий клев» в стеклѳ начался тогда, когда в комнате оказался мастер Богуч, любитель расспросов «со взломом». Он усмотрел в озорной записке покушение на устои, начал грозить Кудасову, что пошлет записку его матери. А она тоже, под стать мастеру, строгая женщина, не простила бы сыну такого...

— А ты помнишь, Василь, — опять неслужебно переходя на «ты», спросил Иван Родионович, — как стоял вот в этой комнате, понутив буйну голову, по случаю «телефонограммы» в спичечной коробке?

Кудасов расплылся в улыбке от уха до уха; ну, чудеса, и это «дир» запомнил!

— Так та ж девчонка, какой я записки посылал, — Надя, жена моя...

— Это какая же Надя?

— Да Фурмова... С чубчиком таким... — Он пальцем изобразил этот чубчик на лбу. — Мóляр...

— Ну, передай Наде от меня поклон. Надеюсь, она как-нибудь к нам заглянет.

— Непременно! — заверил Кудасов.

Иван Родионович достал пачку сигарет; мечтательно повертев ее в руках, с сожалением снова спрятал в стол и начал сосать мятную ледешку.

«Тридцать лет назад, — думал он, — начинали мы с разброда и шатания. Не желая признавать самоуправления, создали ребята, как сейчас помню, тайный ССС — союз сопротивления старостам. Процветала распродажа на толкучке уворованных в ФЗУ вещей. Умышленно ломали инструменты. Из рогатки — вот горе было! — повредили шипом глаз одному мальчишке. Повезли его в Одессу, едва спасли глаз. Однажды, во время педсовета, вбежал бледный комендант общежития:

— У нас в подвале, в угле, захоронена противотанковая мина!

Переполох поднялся неимоверный. Но мину разыскали. Было, всякое было... Конечно, сейчас все по-иному.

Значит ли это, что наступила пора благоденствия? Далеко нам еще до него. Даже группы складываются очень по-разному. Не говоря о «дембелях» — народе серьезном, прошедшем жизненную школу, хотя и нуждающемся в воспитательной дошлифовке. Не говоря о группах с де-

сятиклассным образованием — чертежницах, химлаборантах, полиграфистах.

Но основной-то состав — те, кто пришли после восьмого класса.

Вроде бы подростки, полудети. Весьма поверхностное представление! Человеку пятнадцать-шестнадцать лет. Он достоин доверия, уважения, хотя нередко и нуждается в поддерживающей руке. Как велика тут роль наставника!

Нервен, истеричен он — и группа такая же. Любит «заглянуть в бутылку» — беда, гони взащей из училища. Хвалятся ребята мастером — добрая примета.

Да, но бывают — и нередко — прорывы цепи «семья — училище — завод». Потеряли Алпатова, Нелады с Хлыевым.

Согласиться с тем, что у Хлыева, если говорить о духовном мире, непреодолимая антиакселерация? Перетягивать с курса на курс, а потом, вместо диплома, выдать справку: мол, учился, на производстве может быть использован по фактической квалификации? Хотя Ирина Федоровна — обаятельный лейтенант милиции — заявляет, что Котька все же выправится. Она с ним не однажды беседовала и убеждена, что внутренней гнили в нем нет.

А Середа? Его отношения с семьями учащихся либо нулевые, либо трафаретны, как обструганные планки. Он в плену у фальшивой педагогики.

Коллектив воспитателей надо гранить. Воспитывать воспитателей.

Сейчас у ребят начнутся двухнедельные каникулы, у воспитателей — страдная пора: семинары, педагогические чтения, встречи с учеными из университета. Преподавателей общеобразовательных дисциплин попросим сдать техминимум, по-

советуем пойти на выставку новых машин, прослушать курс спецтехнологии у Середы и Горожанкина. А мастеров производственного обучения отправим на педагогические микрокурсы.

Кое-кому из мастеров предложим поразгадывать ребусы. Ну, скажем, Петр Фирсович, приходите вы в класс: шум, беспорядок. Что станете делать, если не удастся сразу успокоить учащихся? Или: как поведете себя, коли при избрании старосты группа предложит нежелательную, неудачную, по вашему мнению, кандидатуру?..

А Рощина будет просвещать мастеров в области эстетики. Кажется, заготовила для них короткометражные фильмы».

Иван Родионович посмотрел на ручные часы. Через двадцать минут педсовет. Пожалуй, можно успеть вышить стакан чаю.

Педсовет в училище и такой же, как в любой средней школе, и совсем не такой.

Кроме учителей, приходят мастера, директора базовых предприятий, заводские наставники, то есть лица, вроде бы и далекие друг от друга, но, по существу, делающие одно дело, объединенные им.

Так как народа обычно собиралось много, человек семьдесят, то проводили советы в педкабинете. Здесь на стенах, облицованных деревянными панелями, висели неизменные портреты классиков педагогики, а под стеклом лежали бордовые папки с докладами мастеров, преподавателей о возрастных особенностях учащихся ПТУ, о межпредметных связях и многом другом, что составляло интересы людей, сидящих в этой комнате.

...За окном зимний вечер, густо валит пуши-

стый снег, а в большой комнате педкабинета тепло, яркое свет лампы, похожей на трехлопастный пропеллер, прилепленный к потолку, — и шумок споров, непонятных для непосвященного восклицаний: «Все это «так себе», раздутое до «ого-го!». «Пустое дело из стекла кашу варить», «Да, я грубоват, но зато моя группа»... Круговороты споров.

Зоя Михайловна, насмешливо поглядывая на Середу, спрашивает: «Все же спустились со своего технического Олимпа на грешную землю воспитательных забот?»

Горожанкин, в окружении мастеров, говорит о вновь разрытых траншеях при подходе к училищу: «Строй да ломай — все при деле будешь».

Два молодых мастера, Стоценко и Бирюков, как братья-близнецы. Они из одного села, оба подстрижены под бокс, одного года рождения, заканчивали одну группу здесь, в училище. Вместе были в армии, в техникуме. Стоценко говорит: «Мои уже на БАМ настроились», и Бирюков ему вторит: «А мои на Атоммаш в Волгодонск».

Все собравшиеся в этой комнате знали, что речь пойдет сегодня о воспитательной работе с учащимися в группе, на заводе, в общежитии, что на свет божий появится ворох проблем, что вспыхнут страсти, оживятся молчуны и притихнут говоруны.

Но пока шли перепалки вполсилы, тихие доверительные разговоры.

...Педсовет набирал обороты, и все чаще звучала на них фамилия Хлыева.

Иван Родионович, слушая эти выступления, думал, что надо бы иметь немногочисленный «психологический консилиум», куда могли бы

войти лучший психолог училища, опытный наставник, мудрый мастер.

И тогда отпадет необходимость целому педсовету тратить свое драгоценное время на хлыевых. «Консилиум» будет дотошно выслушивать «больного», знакомиться с «историей болезни», теми лекарствами, что уже прописывались, устанавливать диагноз и метод дальнейшего лечения. Если необходимо — приглашать родителей; если болезнь запущена — принимать радикальные решения и уже их выносить на педсовет.

...К удивлению Коробова, обычно отмалчивавшийся Середа выступил с решительной защитой Хлыева:

— Мы с Петром Фирсовичем были у его матери...

Он назвал рабочий поселок километрах в двадцати от города — ездили туда электричкой.

Выяснилось, что отец Константина сейчас, очередной раз, — в тюрьме. А мать, Федосья Степановна, рабочая, недавно сломала ногу, лежит дома одна без присмотра.

— Мы жучим Хлыева и за опоздания в училище, а он, оказывается, ездит, чтобы помочь матери. Наша группа установила дежурства: два раза в неделю несколько человек отправляются в поселок. — Середа нашел глазами мастера Голенкова, тот кивнул, подтверждая. — Привозят продукты, кое-что починяют, делают уборку. Я думаю, со временем Хлыев приблизится к нам, изменится.

— Точно, — прогудел Петр Фирсович, — недавно принес мне свое рацпредложение...

Середа поглядел на мастера: «Стоит ли так примитивно вызволять Хлыева?» Кое-кто заулыбался.

Петр Фирсович, уловив настроение коллег, сдвинул густые, в проседи, брови:

— Принес! Дурной, дурной, а котелок-то варит. Дельное приспособленьице придумал... Экономит время...

Иван Родионович усмехнулся. Несколько дней назад он зашел в мастерскую. Привычно опахло запахом каленой стружки, нагретого масла, гулом моторов.

В углу, у широкого окна, склонился над деталью Хлыев, весь поглощенный работой.

— Как дела, мастер? — подошел к нему Коробов.

Парень словно бы очнулся, поднял голову. Берет у него сдвинут на ухо, почти белые волосы спадают на лоб.

— Соображаем, — сказал он и добавил (теперь-то понятно, чью фразу): — Монтажнику, первое дело, — котелком варить!

...С самого появления Хлыева в училище Петр Фирсович стал искать пути сближения с ним. Мастер наблюдал за тем, как паренек ведет себя в группе и как ребята относятся к нему, обстоятельно разговаривал с лейтенантом милиции Ириной Федоровной и, конечно же, с самим Хлыевым. Тот кривлялся, на откровенность не шел. А вот поездка к Федосье Степановне — сначала самого Петра Фирсовича, а затем, под его нажимом, и Середы — дала многое.

Оказывается, Хлыев больше представлялся отпетым, а на поверку был неплохим сыном, человеком по натуре добрым, бессребреником, не отлынивал от физического труда. Все это, несомненно, надо было взять на вооружение. Вырисо-

ывалась, как говорил Коробов, «диагностика запущенности» парня.

В поселковой школе — а Голенков побывал и там — Костю с пятого класса зачислили в «неисправимые», порой приписывали шкоды, к которым он отношения не имел, и тем утверждали его в мысли, что «как ни кинь, а будешь виноват». Зато после восьмого класса, чтобы избавиться от Хлыева, ему дали причесанненькую характеристику, в которой разглядеть его истинного было невозможно.

...Середа, сказав, что Хлыев, возможно, приблизится к коллективу, провел ладонями по вискам, словно сам себя одобрительно погладил, и сел. «Еще бы не приблизиться, если ты сам, наконец-то, к нему приблизился», — подумал директор.

— Будем надеяться, — согласился он. — А вот Алпатова мы с вами, Петр Фирсович и Константин Иванович, потеряли. И за то прощения нам нет.

Рощина смотрела на Константина Ивановича пристально, настойчиво, требуя глазами прямого ответа, словно продолжая давний и не очень приятный для Середы разговор.

Константин Иванович почувствовал этот взгляд.

— Потеряли, — неохотно признал он.

«Дошло, — сердито сдвинул брови Коробов. — Надо тебя в следующем году, счастливчик Середа, послать на четырехмесячные педкурсы. И станут там тебя, дорогой инженер, просвещать: что такое социальная психология, и дадут знания истории педагогики, да научат новейшим методам преподавания твоего предмета. Это тебе не повредит».

Егор появился в своей прежней школе в самом начале второй четверти. Завуч, приняв у него документы и выслушав краткое объяснение, продребезжал:

— Ну вот, говорил я, Алпатов, — не для тебя это ГПТУ. Далось оно тебе.. Теперь класс догонять придется.

— Догоню, — утрюмо ответил Егор и поплелся в класс.

Сел за последним столом рядом с Колькой Жбановым. Жбанов расспрашивать не стал, только оглядел с любопытством:

— С возвращеньцем, — и поскреб рыжую встрепанную голову.

Многие девятиклассники были незнакомы Егору — бóльшую часть их перевели сюда из соседней школы при доукомплектовании.

На перемене подошел Ленька «Стой! Проверь свой вес!», начал бесцеремонно выведывать, что да почему. Но и с ним Егор не вступал в объяснения, только сказал: «По семейным обстоятельствам». Правда, Ксюша на своем уроке, увидя Егора за дальним столом, громогласно изрекла:

— Вернулся, Алпатов? В ГПТУ не тебе место, а Жбанову.

И Колька Жбанов дурашливо закивал огненной головой, подтверждая, что, конечно же, его место там, а здесь он — на горе Ксюше.

Егор сидел на уроках рассеянный, утрюмый, в глазах его застыла тоска. Он слушал и не слышал, стал получать тройки, и учителя поговаривали между собой, что вот, поди ж ты, как быстро испортило мальчика ГПТУ, где нужна не столько голова, сколько руки.

Его стали укорять в неэрадивости, особенно в невнимательности в те минуты, когда, сидя в классе, Егор думал об училище: «Сейчас там кончился третий урок началась большая перемена. Ребята читают стенгазету «Эврика». Тоня бежит по коридору — дает комсомольские поручения... Антон вывешивает расписание занятий секции бокса. С классным журналом в руках идет в учительскую Зоя Михайловна. Петр Фирсович подзвал к себе Хлыева... Гриша стоит у окна, покусывает губу, наверно, вспоминает своего друга. А Середа готовится встретить группу в кабинете...»

О Середе, впрочем, Егор старался не думать. Равнодушием своим, тем, что отвернулся, Середа предал его. Ну не предал, так оскорбил.

Выздоровление у матери пошло быстро. Сначала Маргарита Сергеевна несколько встревожилась, что сын плохо ест, никуда кроме школы не ходит, не смотрит телевизор. Потом успокоилась: «Ничего, перемелется», и упорно стала отправлять его в домоуправление — не откладывая, получить паспорт и прописаться.

Маргарита Сергеевна посвежела, с прежним пылом рассказывала Егору о какой-то подлой Клавке из универмага, которая замышляла против нее козни, мстительно — об известной всему городу распущенности новой жены его отца: «Он еще с ней наплачется. Приползет ко мне на коленях — я его не приму».

Об училище они не говорили никогда, но жил Егор как-то сонливо, в школу ходил через силу, по обязанности, и все думал о своем.

Думал он и о том, что мама вовсе не смертельно больна и с ума не сошла бы, как пугала, а

просто ей нужна была эта жертва, потому что о себе она заботилась куда больше, чем о нем. Придя к этой мысли, Егор с вновь вспыхнувшей ненавистью глядел и на торшер, словно составленный из белых лепестков розы, и на выставку хрусталя.

Но тут же его опять захлестывала жалость к матери: в нем она видела сейчас свою единственную опору в жизни.

Однажды, уже под вечер, возвращаясь со школьного комсомольского собрания, Егор вдруг столкнулся с отцом и, наверно, его новой женой. Отец посмотрел как-то виновато, растерянно, остановился:

— Здравствуй, сынок. Слышал я о твоём возвращении. Прости меня... что так грубо разговаривал с тобой в последний раз. Ты тогда был прав. И вообще, я кругом перед тобой... А помогать буду, ты не беспокойся...

— Да я не беспокоюсь, — стесненно ответил Егор, поражаясь, что отец винится, — разве в этом дело.

— Познакомься — Анастасия Ивановна, — показал отец глазами в сторону жены.

Егор неловко кивнул. Подумал: «Женщина как женщина, даже симпатичная. Почему мать ее все время обзывает?..»

— Это наш дом, — указал на семиэтажный дом отец, — мы на втором этаже, квартира четырнадцатая. Приходи.

— Правда, Георгий, приходите, — пригласила и Анастасия Ивановна, — будем всегда рады.

— Как-нибудь, — сказал Егор и попрощался.

«Странно, — недоумевал он, — отец будто другим человеком стал. Моложе. На лице никакой утрюмости. А может быть... — Егор даже придер-

жал шаг, — может быть, правильно он сделал, что ушел?»

Но тут же устыдился этой мысли, как предательства.

13

На уроке литературы у полиграфистов Зоя Михайловна предложила:

— Давайте поговорим о внешней и внутренней красоте человека.

Девчонки уцепились за эту тему. Дина сказала:

— У монтажников есть один красавчик...

Тоня покраснела: «Неужели об Антоне будет говорить?» Испуганно посмотрела на Дину.

— А в действительности — пако́стник, — продолжала Дина.

«Это она о Хлыеве», — отлегло от души у Тони, но тут же она забеспокоилась: вдруг начнет рассказывать при всех о том случае?

— Поэтому, девочки, — высоко подняла черные брови Дина, — присматривайтесь внимательнее к красавчикам. Конечно, рост, осанка, бицепсы глаз ласкают, да ведь счастье, как говорила моя бабушка, не с лица пить...

Тоня думала: «А мой Антон, — она впервые про себя назвала его так, — и красивый, и благородный...»

Она поднялась:

— Может, я буду говорить о вещах общеизвестных... Словами не смогу выразить и сотой доли... Внутренняя красота — это прежде всего душевные качества, доброе отзывчивое сердце, умение быть другом. Встреча с таким человеком — праздник.

Тоня, густо покраснев, села. Девушки понимающе переглянулись, а когда окончился урок и Зоя Михайловна вышла из класса, чья-то озорная рука по-школярски написала на доске мелом: «Антон + Тоня = Антония».

Тоня любила Антона. Его деликатность, простосердечие, веселый нрав как нельзя больше пришлись ей по душе. Но ведь любят не за что-нибудь. Чувство Тони было стыдливо, и хотя они уже были вместе и в театре, и на концертах в филармонии, и просто так гуляли вечерами по улицам, — она не смела взять его под руку или сказать что-то теплее обычного. Да и Антон, видно, боясь обидеть ее даже неосторожным жестом, не разрешал себе ничего.

Невольно сравнивая Тоню с Ларисой, он думал, насколько Тоня лучше, чище. У Ларисы какая-то дразнящая, порочная красота, к ней невольно влекло — но и отталкивало. О тех поцелуях под деревом у Ларисиногo подъезда Антон, боясь потерять Тоню, не рассказывал. Ну, было и было, быльем поросло.

Правда, месяц назад он случайно встретился на улице с Ларисой. В меховой шубке и шапочке, в высоких сапогах, издали помахала ему, крикнула:

— Напрасно исчез!

Очень сближала Тоню и Антона их работа в комитете комсомола.

Антону часто давали поручения: то провести военизированный поход группы, то связаться с комсомольцами базового завода или еще что-нибудь. Уже знали, что Дробот парень обязательный и в любом случае на него можно положиться.

Антон терпеть не мог «яколок», зазнаек и бол-

тунов, чувствовал себя неловко, если его хвалил Петр Фирсович или о нем одобрительно упоминали в училищной стенгазете.

— На копейку сделал, а расписали буквами с голенище, — невольно подражая отцу, говорил он в таких случаях.

Единственный человек, кому Тоня призналась в своем чувстве к Антону, была Галя.

Дина, та стала бы сразу критиковать Дробота, выискивать в нем недостатки. Дашкова прекрасно понимала, что многое у Дины наносное, и напрасно она наговаривает на себя: «Я такая грешница, что на том свете буду копать ямы». Сейчас она до колик в сердце влюбилась в своего журналиста. Но Тоня боялась острого языка Дины.

Галчонок совсем другое дело. Слушая признания Тони, Галка жарко шептала: «Это настоящее. Ты поверь мне». И через секунду спрашивала:

— А ты не стара для него?

Тоня нерешительно говорила: «Разница между нами в несколько месяцев».

И Галя успокаивала: «Ну, ничего, ничего. Это сгладится».

В субботний вечер Тоня и Антон отправились в Дом культуры профтехучилища, прихватив с собой и Гришу.

В двухэтажном старинном особняке, почти у самой реки, было всегда многолюдно и весело. Здесь работали кружки хореографии, вокала, художественного чтения.

Сначала они увлекались работой в киностудии «Экран». Тоня написала сценарий фильма «При-

ходите к нам» — об их училище. Антон монтировал, а Гриша был осветителем и, по совместительству, озвучивал картину. Объявились собственные режиссеры, операторы, ассистенты; опытные «киношники» читали лекции. Ребята сделали фильм для показа в своем кинозале.

Но вскоре у Антона, Гриши и Тони появилось новое увлечение — драмкружок «Ровесник», прозванный «драмгамом». Гама было действительно изрядно, а увлеченности — еще больше. Руководила кружком пожилая артистка-пенсионерка Розалия Семеновна, женщина в прошлом, вероятно, очень красивая. Еще и сейчас она была статна, осаниста, следила за собой, глаза в тонких лучиках морщин светились молодо. Своих питомцев Розалия Семеновна называла не иначе как детьми, и это их нисколько не раздражало — хорошо было иметь такую мать.

Она подкармливала их домашними пирожками, ватрушками. Сюда приходили, как домой. Любили и разлапистую вешалку, что вечно заваливалась, и белые плафоны на стенах, и глубокие кресла репетиционной.

В драмкружке вели свой коллективный дневник — в синей, издавшей виды обложке с какими-то таинственными, похожими на иероглифы, царапинами. В дневник этот каждый мог записать все, что ему хотелось.

В «драмгам» приходили и те, кто давно уже стали самостоятельными людьми; они забредали на огонек к «маме Розе».

Тоня с любопытством листала дневник. «Не обязательно стать нам артистами, — делилась своими мыслями какая-то Красная шапочка из ГПТУ-8, — но умение держать себя, владеть своими чувствами, голосом, походкой, прикосновение

к искусству облагораживает душу...» «Вот хожу в «драмгам» уже третий год, — признавался электромонтер Веня Трунов, — и чувствую — стал лучше...» «У нас в «драмгаме» и весело, и серьезно, но Алик часто отвлекается: выходит из роли сам и выводит других», — сетовала некая Света. «И мне здесь хорошо. Хлыев».

...Нет, Хлыев не был таким уж отпетым, ничего не чувствующим, не понимающим и не желающим понимать человеком. Под влиянием доброго отношения к нему, в Котьке все же происходили некоторые сдвиги.

И «милиционерша» Ирина Федоровна, что нет-нет да заглядывала в штатской одежде в училище, и директор, за непреклонной требовательностью которого Хлыев улавливал искреннее участие в его судьбе, и мастер Голенков, человек справедливый, все значительнее входили в его жизнь и поворачивали ее по-новому.

Да и ребята стали относиться к Хлыеву — он безошибочно это чувствовал — лучше, хотя порой и давали «будьздоровую баньку».

В первые месяцы в училище Котька хорохорился, разыгрывая выпивоху, бывалого «проходчика» по женской части, пытался блатняцкими повадками и жаргоном набить себе цену, но скоро это надоело и ему самому. Здесь было интересно, вся обстановка делала его кураж, попытки предстать прожженным», — нелепыми, и будучи человеком неглупым, он стал постепенно менять линию поведения, образ жизни.

Случай с Тоней потряс его. Котька не думал тогда о насилии. Эта девчонка, готовая с таким бесстрашием защитить свою честь, вызвала в нем невольное неосознанное преклонение.

Когда же и ребята, и мастер, и Середа так участливо отнеслись к его матери, Хлыев поверил, что ничего лучше училища для себя не найдет. Надо дорожить найденным, иначе выпихнут его отсюда и тогда действительно хана.

Сегодня они знакомились с пьесой «А зори здесь тихие». Антону предстояло играть роль старшины Васкова, Тоне — Лизы Бричкиной.

Гриша опять-таки специализировался на освещении.

14

К концу декабря ритм жизни в училище стал особенно напряженным. Старшие монтажники-«дембели» сдали экзамены по «Основам правоведения», курсу «Труд и экономика», эстетике; учащиеся группы Голенкова получили в ДОСААФе водительские права. Всем училищем отвечали на послание космонавта и писали в ЦК ВЛКСМ о желании выпускников поехать на БАМ. В клубе прошла встреча с полным кавалером орденов Славы — он работал на их базовом заводе слесарем.

Этот неприметный на вид человек (оказалось, фронтовой товарищ мастера Голенкова) рассказывал, как в августе 1942 года под Сталинградом ему «с Петей» — это с их-то Петром Фирсовичем — удалось протащить оврагами, балками два орудия, заправляя, ремонтируя трактор в степи, где вокруг шныряли гитлеровцы. После этого рассказа монтажники стали поглядывать на своего «Петю» с еще большим уважением.

В декабре же был «Праздник первого изделия» и выставка «Умелые руки». Хлыев, получив от Петра Фирсовича в подарок набор рабочего инструмента, ходил гордый.

Гриша показывал, на этот раз маме, действующую модель атомной электростанции. «Работали» реакторы; ступеньки лестницы, ведущей на третий этаж турбинного цеха, были из тончайшей проволоки.

В большом зале клуба, где выставили эту модель, висела картина своего же художника — Лени Кротова, «Рабочие руки». Он их изобразил сильными, но без мозолей, ссадин, въевшегося мазута. Рабочие руки, но вместе с тем и руки техника. В пальцах — повышенная чуткость, они наверняка имели дело с тончайшими приборами. Гришина мама долго стояла перед картиной. Уходила и снова подходила к ней, поглядывая на сына как-то особенно, задумчиво.

Потом училище увлек конкурс на лучшее знание техники безопасности. Были капитаны с жетонами на груди, ярые болельщики, выставка стенгазет «Зеленая волна», «Безопасный труд».

И даже сатирический плакат: юнец работает у станка, блаженно прикрыв глаза. Ему видятся хоккейные ворота, цветок и сердце. А надпись призывает: «Не отвлекайся!»

Антон вышел из училища вместе с Тоней. Они миновали несколько кварталов главной улицы и спустились к реке, где «ужинали» когда-то и куда не однажды приходили потом. На Антоне недавно выданное двубортное пальто из серого сукна. На высокой тулье фуражки — кокарда и «крылышки».

Укутанный снегом лес темнел на другом берегу. Луна проложила по льду дорожку.

Тоне хорошо было стоять рядом, и просто молчать, и знать, что у нее есть верный друг. Мир словно бы тоже замер в ожидании счастья.

...Тридцать первого декабря Антон провожал Тоню на автовокзале. Она уезжала на каникулы к родителям, он оставался.

Пассажиры торопили:

— Поехали, водитель!

Тот басил:

— Погодите, всех обилечу...

Тоня, положив сумку на сиденье у окна, вышла из автобуса. Было морозно. На Тоне приталенное пальто, берет, тоже с «крылышками». Вязаной рукавичкой, похожей на лапу зайчонка, она растирала щеку. Конопушки у нее почти совсем исчезли, а стрелчатые ресницы почему-то стали темнее.

Шофер включил мотор. Уже на ступеньке автобуса Тоня сказала негромко:

— До свиданья, Антон. Я буду скучать.

Автобус двинулся, отрывая ее от Антона. Поплыли окраинные дома, похожие на бело-бордовые гармошки, началось шоссе, словно прорубленное в сугробах, замелькала лесополоса в инее. То здесь, то там искрами вспыхивали между деревьев огни дальнего селения. Тоня улыбалась своим мыслям. Впереди были встреча с родителями, а потом возвращение в училище: к Антону, к Галчонку, Дине, в «драмгам». И все это наполняло сердце стойкой радостью.

Антон задумчиво пересек Театральную площадь. Играла огнями многоярусная новогодняя елка. Шли прохожие, груженные коробками с тортами, кулками, авоськами. Тени в окнах верхних этажей походили на телевизионные силуэты из космоса. Мягко бежали по скрипучему снегу легковые машины.

«Замечательная она, — думал Дробот о Тоне, —

так хочется, чтобы она и сейчас, и всегда гордилась мной. Я всего добьюсь!.. Кое-что можно сделать уже теперь. Например, для армии... Научиться стрелять без промаха. Изучить топографию...»

Под Новый год Егор получил сразу два письма: от Зои Михайловны и Гриши.

Рощина поздравляла с праздником, просила написать, как складывается у него жизнь. А Гриша сообщал, что через три дня приедет и заберет Егора на неделю к себе, в гости. Гриша писал об этом, как о деле решенном, и Маргарита Сергеевна, узнав о приглашении, не рискнула возразить, хотя подумала опасливо: «Как бы этот гепетеушник снова не сбил его с толку».

Полугодие Егор окончил без двоек, а по математике и физике получил даже пятерки. Он словно бы приходил в себя после тяжелой болезни, потому что решил: среднюю школу надо окончить прилично, это потом пригодится.

...Гриша приехал в полдень: ввалился с мороза румяный, в ушанке, съехавшей набок, такой солидный мужичок. Стиснул Егора так, что у того кости захрустели.

Им не хватило дня, чтобы наговориться. Гриша рассказывал, как часто они теперь бывают с Петром Фирсовичем на заводе, монтируют оборудование. Ну, не сами еще, конечно, а вместе со своим мастером и с заводской бригадой. Как Голенков попросил мастера Горожанкина отпечатать пригласительные билеты родителям на «Праздник первого изделия».

— Ты представляешь, моя родительница приехала!..

И понижая голос, спросил:

— А твоя мама не передумала? Ты ее не переубедил?

Егор невесело усмехнулся: «Ее переубедишь! Сразу начнет за пузырьки с лекарствами хвататься. Я ведь — придаток квартиры». Но вслух только сказал:

— Не переубедил.

Чем больше слушал Егор своего друга, тем сильнее подступала, несколько приглушенная временем, тоска по училищу, помимо воли росла и неприязнь к матери.

— Да! Тебе Тоня привет передавала.

— Значит, не жалеешь, что пошел в монтажники? — сдавленным голосом, зная, что ответит Гриша, все-таки спросил Егор.

— Чудик! — живо откликнулся тот. — Да ни на минуту! Я монтаж ни на что другое золотое-бриллиантовое не променяю. Наш Середа...

Но о Середе Егору слушать не хотелось, поэтому он торопливо спросил:

— Так, значит, к тебе поедем?

— Завтра же! — горячо воскликнул Гриша. — Родители ждут.

15

Для тех, кто оставался на каникулах в училище, военрук организовал лыжный пробег, экскурсию к шефам в воинскую часть, трехдневный поход по местам боевой славы. Но и после этого у Антона оказалась уйма времени, и он одиноко бродил по гулким опустевшим коридорам, пропахшим мастикой.

Отец Антона служил сейчас за границей, мать была с ним, их квартира в небольшом городке

пустовала. Брат отца, инженер с Харьковского тракторного, имел большую семью, но все же пригласил племянника к себе на две недели — вот только деньги на билет прислать не догадался, а родительский перевод почему-то запаздывал. Конечно, Антон мог бы перехватить десятку у того же Гриши, но не захотел и один слонялся, как неприкаянный.

Понимал ли он, что Тоня любит его?.. Это было ясно по ее глазам, она не умела ничего скрывать. И у него к Тоне было столько нежности, так хотелось ему все время делать для нее что-то приятное, хорошее, видеть ее как можно чаще.

Но по ночам, в пустой комнате общежития, Антон нет-нет да возвращался невольно мыслью к Ларисе, вспоминал ее губы, податливое тело.

Разум говорил: «Неужто можешь ты поменять Тоню на такую?» Однако что-то сильнее разума снова и снова рисовало картины того, о чем так много и неясно пишут в романах и говорят. Антон растравлял свое воображение.

Наконец пришли деньги от родителей, он отправился за ними на почту и опять повстречал Ларису.

Она была еще красивее, чем в воображении. В чем-то, пожалуй, Лариса походила на Тонину подругу Дину, только была более вызывающей.

— Это судьба! — воскликнула Лариса, играя глазами, подбивая прядь темных волос, выбившуюся из-под норковой шапочки. — Мои предки отбывают завтра в семь вечера в Сочи, и я готова оказать вам честь... — Она сменила игривый тон на серьезный: — Нет, правда, Антон, приходи завтра в восемь вечера... дом ты знаешь, квартира пятьдесят три...

— Приду, — коснеющим языком произнес Антон.

Эту ночь он почти не спал. Лежал в темноте с открытыми глазами, и перед ним все время вспыхивало: «53»... «53»...

К черту, он никуда не пойдет! Через несколько дней возвращается Тоня, и они снова будут в своем «драмгаме», будут репетировать «Зори»... А другой настойчивый голос нашептывал: «Но ты, наконец, узнаешь...»

И Антон опять рисовал в воображении, что ждет его. Разболелась голова, ломило все тело, будто его били палками, горело лицо...

...За окном прогрохотала в отдалении электричка. Хлопнула внизу дверь общежития. Интересно, который час? Антон зажег свет, посмотрел на ручные часы: три. Сквозь стекло, затканное морозом, ничего нельзя разглядеть. Он потушил свет и забылся беспокойным, не приносящим отдыха сном.

Без двух минут восемь Антон нажал белую выпуклую кнопку звонка. За дверью, обтянутой коричневым дерматином, с зеленым значком «глазка», раздался мелодичный перезвон. Так, наверно, отзванивали старинные часы. Дверь открыла Лариса.

— Милости прошу! — церемонно поклонилась она, отведя правую руку в сторону.

На Ларисе розовый коротенький простеганный халатик, пахло от нее какими-то сильными духами.

Комната, куда вошел Антон, после того как оставил в передней свое полупальто с пристегнутым цигейковым воротником, была вся в до-

рогих коврах: толстых, ярких, ворсистых. Лариса села на пол, оперлась голой рукой о мягкий ковер, розовые колени ее казались одним из рисунков на ковре.

— Садись, — предложила она Антону.

В комнате было жарко, даже душно.

— Сними пиджак, чувствуй себя как дома!

Лариса вскочила, включила мягкий свет торшера, погасила верхнюю лампу. Открыв полированную дверцу бара, извлекла бутылку с заморской этикеткой, блюдо с нарезанным лимоном.

— Побалуемся...

Антон взял холодную бутылку, стал ее разглядывать. Коньяк, что ли?

Они выпили раз, другой, третий. Ну и пошло! Аж слезу вышибает, а внутри все горит. Лариса закурила тонкую, длинную сигарету, протянула Антону пачку:

— Может, все же закуришь?

Антону не хотелось выглядеть перед Ларисой «образцово-показательным», и он тоже задымил.

Коньяк разобрал Антона, все ему уже казалось простым, естественным. Нет, он не маменькин пай-мальчик.

Лариса быстро убрала все с ковра на журнальный столик с причудливой, будто свитой из стеклянных веревок вазой, дернула шнурок торшера, и в комнате стало темно. Только лунный свет, неясно пробиваясь сквозь оконное стекло, освещал дальний угол комнаты с высокими стоящими на полу часами в футляре...

На улице Антон снял шапку; трезвея, медленно пошел к трамвайной остановке. На душе было тошно, росло презрение к себе: «Разве это

мне надо?.. Как посмотрю теперь в глаза Тоне?»

Он представил ее у автобуса: трет щеку варежкой, глядит доверчиво.

«Предал ее... Изменил себе... Обокрал, прежде всего, себя. У Ларисы я, конечно, не первый. И будет у нее еще много.

Разве так становятся мужчиной? С любой, без чувства?»

Внутри словно все выгорело... Он, конечно, расскажет Тоне. Но в темноте: при свете не сможет. Захочет ли она простить его?..

Антон прыгнул на подножку подошедшего трамвая. Колеса отстукивали: «Предал, предал...»

На первой же остановке он вышел — нет, лучше, легче пешком. Злорадно скрипел снег под ногами: «Шваль-шваль, шваль-шваль...» Антон подцепил горсть снега, растер лицо.

В училищном городке спали прачечная, парикмахерская, баня. Только несколько окон общежития затянул желтый утомленный свет. Антон поднялся по ступенькам крыльца под навесом, заглянул в нижнее окно.

В вестибюле, у телефона, сидела, на его несчастье, сама комендантша, решительная и властная Анна Тихоновна, кому-то звонила. Важно было пройти мимо нее уверенной походкой.

— Тебе письмо. — Анна Тихоновна протянула конверт.

Письмо было от Тони.

Он поднялся на свой этаж, открыл комнату, зажег свет. Положил письмо на стол. Почему оно пришло с таким запозданием? Если бы вчера!.. Антон не мог заставить себя сейчас прочитать письмо.

Надо заснуть и забыть обо всем. Ничего не было. Надо заснуть.

Рощина жила с матерью в двухкомнатной квартире, недалеко от училища. Мать тоже была учительницей, преподавала биологию. Сибирячки, они полюбили этот утопающий в зелени город, его общительных, склонных к юмору жителей, людей громкой речи и бурной жестикуляции.

Завтра начиналась третья учебная четверть, и Зоя Михайловна «подбирала хвосты». Она проверила несколько десятков тетрадей, составила конспект урока, начала обдумывать план воспитательной работы.

«Разве нам безразлично, какую молодую гвардию рабочего класса готовит училище на новой стартовой площадке?..

Что знаю я о внутреннем мире, ну, скажем, Антона Дробота? Как относится он к музыке? Как представляет себе любовь? Вероятно, не так же, как Хлыев. А может быть, вообще не думает об этом. Надо бы чаще давать сочинения на вольную тему, в таких случаях они охотнее впускают в свой мир».

На этом месте своих размышлений Зоя Михайловна почему-то вспомнила о недавнем разговоре с Середой. Он назвал брак рискованным обменом изолированной квартиры на коммунальную. Поразительный примитивизм закоренелого холостяка.

Хотя намекал, что почти готов облагодетельствовать Рощину предложением ей руки, готов потерять драгоценную свободу.

Спасибо, спасибо... Весьма признательна... оставайтесь при своей изолированной квартире и сомнительной свободе. Обмена не предвидится. Сближения — тоже, потому что ему должна пред-

шествовать близость душевная, как полету — разгон.

Она не принимала выражение «интересный», когда говорила о внешности мужчины. Писанный-расписанный мог оказаться пошляком, ничтожеством, квазимодистый — интересным мужчиной.

О Серёде Зоя Михайловна слышала от других женщин это пресловутое «интересный мужчина», но для нее он настоящего интереса не представлял. Правда, что-то все же притягивало. Была в нем потаенная пружинистая сила при полном отсутствии суетливости, лишних слов и движений.

Лицо Константина Ивановича невозможно было представить искаженным от страха, душевной боли. Собранность, целеустремленность, воля с изрядной примесью педантизма. Неужели этот экземпляр — порождение века НТР?..

Иногда ей хотелось что-то такое сказать Серёде, чтобы он взвился. Пожалуй, единственный раз она сумела этого добиться после ухода из ее кабинета Егора Алпатова.

Зоя Михайловна обнаружила Серёду в его маленькой комнате, забитой аппаратурой, пособиями, схемами. Сказала, не подбирая выражений:

— Между прочим, любимым учителем можно стать, только став любимым человеком. С Алпатовым вы себя держали сейчас отвратительно... Как робот... Понимаете — формально, бездушно!

Вот когда «робот» побледнел:

— Я не позволю так разговаривать с собой.

— Вы не достойны иного разговора! — Зоя Михайловна повернулась и вышла.

Собственно, чего она тогда на него накинулась?.. Но все-таки мог же Серёда найти для мальчика теплые слова! Что это: черствость, недомыслие?..

Или она сама — ведьма, самоуверенная и самолюбивая, поглядывающая на коллегу сверху вниз?

Было бы несправедливо назвать Середу человеком недалеким из-за его увлеченности техникой, и только техникой. Узость — да, но не скудоумие.

Но вот внутренний мир его оставался для Рощиной совершенно неясным. Добрый он человек или нет? Душевно щедрый или скупой? Способен совершить подвиг самопожертвования или предпочтет отсидеться в стороне?..

Себя-то он любит.

Любопытно, что иной раз в пустяке вдруг проступает характер. Даже в том, как начинает человек разговор, подняв трубку звонящего телефона.

Константин Иванович в таких случаях сообщает:

— Середа слушает. — Именно он, и никто другой.

Черт возьми, она, кажется, к нему стервозно придирается!

...Еще когда Рощина училась на третьем курсе университета, начала она встречаться с прекрасным парнем Володей.

Познакомились они в сводном строительном отряде студентов. Потом были вечера у реки, письма в стихах, трижды в день.

Володя тоже был «технарем», из Научного центра, но никакого сравнения с Середой. Талантлив во всем. Даже в веселье.

Он был человеком разносторонних интересов, но натурой — цельной. И внутренне удивительно деликатным. Вероятно, с этим рождаются, это как дар природы. Дала она тебе слух или нет, дала

деликатность или обделила. У Середы только внешний блеск, а глубже, как она полагает, — грубоватость натуры.

Володя погиб в позапрошлом году в автомобильной катастрофе, за месяц до их свадьбы. И теперь, любого сравнивая с ним, она не в состоянии поставить кого-нибудь рядом.

Лучше никого, чем «абы кто», кого душа не принимает безоговорочно.

Вероятно, она максималистка. Мама поглядывает с тревогой: «Засиделась в девках!»

Страдает ли она, вроде бы преуспевающая «литераторша», от одиночества? Пожалуй, да. Женщина есть женщина — хотелось быть необходимой Ему. Такому, чтобы не возникало одиночества вдвоем.

Да, ее любят ученики, уважают коллеги, и все же остается внутренний вакуум: нерастроченная женская нежность, невостребованная семейная заботливость. И еще: естественное желание чувствовать рядом сильного человека, верное «затулье», возможность не решать одной все дела. И, хотя бы временами, освобождаться от чего-то мужского в своем характере, что появилось в последние годы. Наверно, от чрезмерной независимости, которая тоже порой в тягость.

Через несколько дней после того как «покатилась» третья четверть, Рощина предложила группе монтажников и полиграфистов написать сочинение: «Мой идеал человека».

Тоня Дашкова с нежностью писала о Горюжанкине.

Гриша Поздняев разразился панегириком в адрес Середы: и как он дело свое знает, и какой пунктуальный... Прямо эталон. Но все же Зое

Михайловне почему-то приятно было читать об этом.

А вот сочинение Дробота встревожило своей надрывностью, недоговоренностью. «Любить тоже надо уметь, — писал он. — Жалкий человек, кто разменивает настоящее чувство на минутное удовольствие». Сочинение было не очень «на тему», но, вероятно, что-то накипело у парня, просилось на бумагу.

Сразу после возвращения из дома Тоня почувствовала, что с Антоном происходит неладное. Он старался не смотреть ей в глаза, ни слова не сказал об ее письме, а ведь она писала, что очень дорожит их дружбой. В «драмgame» Антон неожиданно наотрез отказался от роли старшины Васкова:

— Не для меня эта роль!

И как ни уверяла его Розалия Семеновна, что нет же, для него, — твердил упрямо:

— Я знаю — ничего не получится.

В воскресный вечер они задержались в Доме культуры позднее обычного: там сдавали программу, подготовленную учащимися профтехучилищ для показа в Скандинавских странах. В мае «гастролерам» предстояло побывать в рабочем предместье Копенгагена, на фабрике художественных изделий в Осло, в одном из университетских городков Швеции — Упсала и на фарфоровом заводе в Хельсинки.

Программа получилась на славу. Исполнял «Танец Анитры» Грита квартет юных, как на подбор круглолицых, баянистов; звучали Бах, Пганини, Лист; кружил хоровод девушек в длинных розовых платьях; с гиком и свистом лихо

плясали мальчишки. Пели «Калинку» и «Коробейников». Подготовили и шведскую колыбельную, финскую польку... А заканчивали концерт песней «Слава рабочим рукам».

Уже в десятом часу Антон и Тоня спустились с высоких ступенек Дома культуры и пошли вдоль берега реки, покрытой льдом.

Посвистывала метелица. Они шли молча, но Тоня знала, точно знала, что вот сейчас начнется какой-то — она даже не могла себе представить, какой, — разговор, объясняющий странное поведение Антона. Не сговариваясь, остановились возле чугунной тумбы причала, занесенного снегом. Антон с трудом поднял глаза:

— Я хочу тебе сказать... — Голос хриплый, прерывистый. Лицо он спрятал в тень. — Хочу сказать... без тебя на каникулах... встречался я с одной... был у нее дома и... и... у нас было все... Это гнусно... Но я должен сказать тебе...

У Тони внутри все оборвалось. Слезы невольно потекли из глаз. Но она справилась с собой.

Антон стоял жалкий, потерянный, чужой. Совсем не тот, кого она знала. Свет от фонаря сейчас падал на его лицо, и оно тоже было чужим.

За что же он так? За что?.. Она ни слова не сказала, медленно пошла в гору. Неужели никому нельзя верить? И есть только пошлость, обман?.. Если бы он полюбил другую и честно признался... Но ведь он сам сказал «гнусно». «Такой он мне не нужен... Совсем... Я себя знаю — не нужен».

Тоня долго стряхивала снег в коридоре общежития, долго поднималась по лестнице, оттягивая минуту, когда должна была войти в комнату. К счастью, Дины еще не было, не возвратилась с Лёней из театра. Галка посмотрела на под-

ругу испуганно — та была бледной, поникшей.

— Нездоровится мне... — сказала она медленно, через силу разделась и легла в постель.

— Может быть, лекарство? Скорую помощь?

— Нет, продрогла я... Засну...

Тоня с головой укрылась одеялом, свернулась калачиком. Долго лежала так. Только когда услышала, что Галя посапывает, дала волю слезам. Ее трясло, она старалась унять дрожь и не могла. «Что же он наделал! Что наделал!..»

Странную вещь заметил Егор, когда возвратился домой от Гриши, где прекрасно провел время. В рассказах матери все чаще стал появляться какой-то Матвей Федорович, завгар, — добрый, славный, по ее отзывам, человек. У него, оказывается, была неизлечимо больная жена, «просто приговоренная к смерти».

Маргарита Сергеевна очень сочувствовала Матвею Федоровичу: «Так, бедный, мается, так переживает».

Сначала — когда приезжал на своей машине, как леший, обросший волосами, здоровенный мужик и, войдя, стыдливо ставил на стол бутылку сухого вина, клал коробку конфет, — мать конфузилась, смотрела на сына виновато, словно бы говоря: «Ну что мне с ним делать? Не выгонять же из дома хорошего человека?»

Но скоро, еще до прихода «несчастливого» Матвея Федоровича, мать притворно-озабоченно советовала:

— Ты бы, Георгий, прошелся по свежему воздуху... Или в кино ходил... На тебе деньги... Ну что бирюком сидеть? Иди, иди, — и выпроваживала его.

Вот тогда у Егора возникла зыбкая надежда: а вдруг удастся ему возвратиться в училище? Мать обойдется без него. Теперь вполне обойдется.

Он повеселел, приободрился, написал письмо Зое Михайловне, где осторожно намекнул, что ситуация в доме изменилась, и кто знает...

Коробов дома продумывал свое завтрашнее выступление на пленуме обкома партии. Там речь пойдет об улучшении работы профтехучилищ.

О чем скажет он? О том, что проблему подготовки молодых рабочих надо решать в союзе со средней школой — в таком единении сил таятся огромные скрытые резервы. О важнейшей задаче — нравственном воспитании учащихся.

Он не верил в мгновенные, святочные метаморфозы. И если в хлевых намечался заметный перелом, даже не перелом, а поворот к лучшему, то как же закрепить, развить успех, добиться нравственной акселерации?

Это хорошо, что Павел Павлович Карпенко стал проявлять повышенный интерес к их общему делу, но и здесь не должно быть временности. Все следует, опять-таки вместе, продумать глубоко и намного вперед.

Проблемы, проблемы... Они обступают со всех сторон. Ждут решения... Впрочем, какое значительное дело обходится без трудных подъемов? Надо искать возможности повышения КПД нашей системы.

Вот этими мыслями он поделится на пленуме...

В училище тишина. Идут занятия.

То на одной, то на другой доске чертит про-

фили проката Середа, показывает образцы печатных наборов Горожанкин, читает поэму Твардовского Рощина.

Всяк думает по-своему: подперев кулаком щеку — Гриша, скрестив руки на груди — Антон, кусывая прядку волос — Тоня, напряженно морща лоб — Хлыев.

Тишина. Идут занятия.

ОТЧИМ

Повестъ



Глава первая

Сереее Лепихину было шесть лет, когда отец и мать разошлись.

Они с матерью поселились у бабушки, в ее стареньком деревянном доме возле спуска к Дону.

Казалось, Сережа не придавал особого значения переменам в своей жизни: гонял с соседскими мальчишками голубей, раза два удирал от бабушки на рыбалку, до седьмого пота играл в футбол.

Отца вспоминал редко, если же иногда и спрашивал о нем, мать ничего плохого не говорила: мол, поссорились, вот и живем порознь.

— Но я же с ним не ссорился, — резонно возразил он как-то, а потом долго не возвращался к этой теме.

Однако года через три, тяжело заболев, Сережа стал вдруг просить:

— Позови папу... Я хочу его видеть... Позови...

Раиса Ивановна позвонила в Энергосбыт, где работал инженером ее бывший муж, Станислав Илларионович.

До этого он ни разу не пытался увидаться с сыном, даже материально не помогал, зная, что Раиса неплохо зарабатывает. Да она и не приняла бы от него помощи.

Станислав Илларионович, как и прежде, не по летам раздобревший, приехал к сыну в великолепно сшитом костюме, привез кулек шоколадных конфет.

После этого краткого визита мальчик долго еще надеялся на приход отца. Но, услышав сетование бабушки, что вот пропал человек, как в

воду канул, сказал, будто сдирая корку с поджившей раны:

— Не хочу слышать про него!

Это он только сказал так, а на самом деле, конечно, хотел бы и услышать и увидеть...

Пролетело еще два года. Сереже шел двенадцатый год, он превратился в неуклюжего мослаковатого юнца, болезненно самолюбивого, застенчивого — в одного из тех, кто не знает, куда спрятать свои руки, глаза, ограждается грубостью, чтобы не покусились на его независимость.

Он был высок, узкогруд, ходил, ставя носки несколько внутрь, как отец. Светлые волосы непокорным мысиком нависали над выпуклым лбом, из-под которого испытующе поглядывали на мир серые глаза.

Удлиненное лицо Сережи, с бороздкой правдолюба на подбородке, было бы, в общем-то, довольно энергичным, если бы не длинные пушистые ресницы, которые придавали его облику что-то девчоночье.

Мать с радостью отмечала, что в характере сына было много стыдливой ласковости, душевной щедрости, совершенно не свойственной его отцу, и это успокаивало ее.

Но она даже не догадывалась, как часто продолжал мальчик думать об отце. То вдруг вспоминал, как сидел на плечах у него, а отец шел в море; то мысленно зло говорил: «Что ж ты за человек! Бросил меня, как собаку...» Он становился угрюмым, вспыльчивым, и бабушка удивлялась этим резким переменам в настроении.

Как-то он даже втайне долго шел позади отца, возвращающегося с работы, но не приблизился к нему.

Если одноклассники спрашивали теперь об отце, Сережа говорил:

— В командировке он... На Севере...

— В авиации? — допытывались ребята.

— Угу, — выдавливал он, презирая себя за ложь.

Ему бы сказать честно: «Не живет он с нами», но Сережа не мог заставить себя произнести эти слова.

...Уже несколько лет Райсе Ивановне оказывал внимание сослуживец — как и она, архитектор — Виталий Андреевич Кирсанов: худощавый мужчина лет за сорок, с густо посеребренными сединой висками и немного впалыми щеками.

Он жил одиноко, давно был в разводе, пользовался в их проектном институте всеобщим уважением за великолепное знание дела и спокойный нрав. Правда, умел быть и жестоким, если наталкивался на недобросовестность, но справедливые требования не обижали умных людей.

Когда Кирсанов сделал ей предложение, Райса Ивановна и обрадовалась, и забеспокоилась. Обрадовалась, потому что, какой женщине не мечтается почувствовать себя под защитой сильного человека и, не лишаясь самостоятельности, независимости, знать, что она не одна решает трудные вопросы жизни, преодолевает тяготы, что кто-то рядом оберегает ее! В конце концов, сколько будет она все тащить на своих плечах? Ведь даже металл устает. Но возникло и сомнение: как Сережа отнесется к отчиму? Может быть, ей не следует вообще думать о личном счастье, а целиком посвятить себя сыну?

...Появление в доме Райсы Ивановны незнакомого мужчины было воспринято мальчиком с молчаливой неприязнью. Он старался не оставлять с ним мать один на один, на вопросы Кирсанова отвечал односложно, неохотно, всем своим поведением словно бы говорил: «Ты здесь лишний и чем скорее исчезнешь, тем лучше будет для меня и мамы».

Но Виталий Андреевич делал вид, будто не замечал его настроения, предлагал свою помощь Сергею, когда надо было решить трудную задачу по алгебре, брал его на лыжные прогулки. А скоро открылось одно существенное сходство их интересов.

Сережа страстно увлекался самолетостроением: делал авиамодели, знал наизусть все данные о новых самолетах, читал журнал «Гражданская авиация», упиваясь, рассматривал схемы в «Interavia», собирал почтовые марки, связанные с воздухоплаванием.

Кирсанов же в войну был штурманом бомбардировочной авиации.

Но даже после таких, казалось бы, благоприятных для сближения обстоятельств стоило матери сказать: «Сережа, я выхожу замуж за Виталия Андреевича и надеюсь, вы с ним поладите, он хороший человек...» — как мальчик насупился и, ни слова не сказав, вышел из комнаты.

Забившись в дальний угол двора, между штабелями досок, он зло думал: «Все без меня решила. А я для нее пустое место... «Хороший человек!» Так что мне с ним — целоваться?! Может, он и штурманом не был...»

Вечером сказал матери, подыскивая слова побольнее:

— Напрасно ты бросила папу... Он лучше...

Райса Ивановна даже не нашла, что ответить. Сказать правду об отце? Что распустился, шатался по ресторанам. Докатился до взяток. Когда же она возмутилась этим, крикнул: «Если хочешь, живи сама на свой профсоюзный максимум!» Нет, не станет Райса Ивановна обо всем этом говорить, и она только повторила:

— Виталий Андреевич — очень хороший человек.

Нужен ему этот «хороший человек»? Сергей хлопнул дверью.

Теперь сын стал вздорно ревновать ее к Кирсанову. Хотел только с ней одной идти в кино, не любил, если она надевала новое платье, подозревая, что это сделано для «того».

Услышав, что Виталий Андреевич получил квартиру, Сережа наотрез отказался переезжать туда.

— Я к нему не поеду, — прижав подбородок к груди, угрюмо объявил он матери.

— Почему? — Круглое лицо Райсы Ивановны побледнело, густые темные брови словно свела судорога. — Почему все же? Могу я знать хотя бы это?

— У меня есть отец, — холодно ответил мальчик, глядя ей прямо в лицо. — Я хочу жить с ним.

Райса Ивановна от обиды, возмущения расплакалась: «Вот, пожалуйста!.. Весь в папочку! Напрасно ты думаешь, мерзкий мальчишка, что я и дальше подчиню всю свою жизнь тебе».

Передав Виталию Андреевичу разговор с сыном, Райса Ивановна горестно воскликнула:

— Ну и пусть остается у бабушки!

Виталий Андреевич не согласился:

— Ему лучше жить с нами...

Он очень хотел этого не только потому, что искренне привязался к мальчику, но и потому, что знал, как дорог тот Рае.

Сережа с матерью заканчивали обед, когда к ним пришел Виталий Андреевич. Он был в простенькой клетчатой рубашке с закатанными рукавами, открывающими тонкие мускулистые руки, отчего выглядел моложе своих лет.

Раиса Ивановна при виде его обрадовалась, ее мать приветливо закивала:

— Заходите, заходите... Может, пообедаете?

— Спасибо, Анастасия Семеновна, только что обедал... Вот арбуз, пожалуй...

Он сел к столу, рядом с хмурым Сережей, стал рассказывать о проекте нового стадиона в городе.

Когда Раиса Ивановна начала убирать посуду со стола, Виталий Андреевич сказал:

— Сережа, я бы хотел, чтобы ты с мамой, а если пожелает — и бабушка, чтобы все жили у меня. Как ты на это смотришь?

Сережа встал из-за стола так, будто его вызвал для ответа нелюбимый учитель, которому он все же вынужден отвечать. Опустив голову, тихо сказал:

— Я не хочу. У меня есть папа.

Анастасия Семеновна всем телом подалась в сторону внука, словно желая оградить его. Раиса Ивановна кусала губы, готовая разрыдаться.

— Хорошо! — решительно объявила она. — Мы сейчас же, понимаешь, сейчас возьмем такси, поедem к твоему отцу, и ты слушаешь, что он скажет.

— Мне можно поехать с вами? — спросил Виталий Андреевич.

— Я даже прошу тебя об этом, — торопливо вытирая руки полотенцем, ответила Райса Ивановна, — очень прошу.

Мальчик метнул было негодующий взгляд в сторону матери, но не посмел возразить или не подчиниться. Вскинув голову, неторопливо вышел на улицу и до остановки такси, и в самой машине не проронил ни слова.

Виталий Андреевич, чувствуя, как лихорадочно взволнована жена, тихо попросил:

— Разреши вести разговор мне.

Она, соглашаясь, благодарно пожала ему руку.

Станислав Илларионович после развода с Райсой долго не мог остановить свой выбор ни на одной из многочисленных знакомых. При этом придерживался, по его же словам, минимума порядочности: не встречался с замужними и одновременно с двумя.

Но дело шло к сорока, надо было подумать о новой семье, и Станислав Илларионович, к удивлению многих, женился на единственной дочери профессора-окулиста, девице увядшей, жеманной, и поселился в профессорском особняке.

...Когда на звонок он открыл дверь, то онемел, увидев перед собой сына, Райсу и какого-то мужчину.

— Станислав Илларионович, — негромким голосом произнес этот мужчина, — я — муж Райсы Ивановны и хотел бы взять на себя воспитание Сережи, но он заявил, что желает жить с вами...

Наступило тягостное молчание. Холеное лицо Станислава Илларионовича выразило растерян-

ность. Он продолжал стоять в дверях, словно загораживая вход в особняк.

Из глубины доносились звуки рояля: кто-то исполнял меланхолический вальс.

— Я не подготовлен к подобному обсуждению, — с запинкой произнес наконец Лепихин. — Это так неожиданно... И потом... у меня предполагается появление другого ребенка...

Во все время этого разговора Сережа, стоя в стороне, умоляюще смотрел на отца. Его губы пересохли, словно от жара.

— Тем не менее вопрос необходимо решить, не откладывая, — настаивал Кирсанов.

Виталий Андреевич показался сейчас Сереже выше, мужественнее, чем прежде. «Нет, штурманом он все-таки был», — почему-то подумал мальчик, но отметил это как-то краешком сознания, весь охваченный мыслью об отце.

— Мы не будем вам мешать, поговорите с сыном, — сказал Кирсанов и, взяв под руку жену, пошел к ожидающей их машине.

...Сергей возвратился к ним через несколько минут, возвратился сразу повзрослевшим, даже... состарившимся, если можно так сказать о ребенке. Он сел на переднее сиденье, не поворачиваясь, сухо объявил:

— Я буду жить с вами...

— Тогда заедем сейчас за вещами, — сказал Виталий Андреевич.

Глава вторая

Несколько ночей Сережа почти не спал, все думал, думал об отце, о своей судьбе. Почему именно на его долю выпало такое? Ведь могло

же быть иначе, и он был бы счастливейшим человеком на свете. А теперь внутри что-то навсегда перегорело: отец окончательно предал его, трусливо отказался в самую трудную минуту и отныне перестал для него существовать. До этого разговора еще какая-то надежда теплилась, а после него — все!

Сережа осунулся, но старался не показывать, чего ему стоило крушение.

Первые месяцы жизни Сережи на новой квартире прошли трудно для всех.

Заранее внушив себе, что теперь ему уготована горькая жизнь пасынка и, значит, ни за что не надо давать себя в обиду, он не только не избегал столкновений, но словно бы даже искал их. От Сережи то и дело можно было услышать: «Нет», «Сам знаю». Никогда еще не был он так вспыльчив, как в эти месяцы, и Раиса Ивановна просто измучилась: ни ласки, ни упреки, ни резкость, ни долгие разговоры, казалось, совершенно не действовали.

Как-то в их доме перекрыли водопровод.

Сережа рылся в инструментах, когда Виталий Андреевич попросил:

— Пойди, Сережа, принеси воды из колонки. Он сделал вид, что не слышит.

— Сережа, я к тебе обращаюсь!

Он даже не поднял головы:

— Я занят.

— Найдешь то, что тебе надо, позже, — терпеливо, не повышая голоса, сказал Виталий Андреевич, но весь напрягся.

Сережа сузил враждебно блеснувшие глаза:

— Вы мной не командуйте!

У Раисы Ивановны перехватило дыхание:

— Да как ты смеешь, пащенок, так отвечать

человеку, которого все уважают, который заботится о тебе! Немедленно иди!

Он намеренно не спеша поплелся за ведром, вышел в коридор.

Райса Ивановна иступленно забегала по комнате:

— У меня больше нет сил!.. Нет!.. Он делает нашу жизнь невыносимой, рассорит нас... Я не могу видеть, как ты нервничаешь... Не могу допустить такое обращение с тобой... Зачем тебе взваливать на себя эту обузу? Пусть живет у бабушки, если не понимает, что ты для него делаешь...

— Но мы еще ничего для него не сделали, — возразил Виталий Андреевич.

Для себя он решил: не стремиться, чего бы это не стоило, войти в доверие, расположить к себе мальчика, понимая и его состояние, и фальшь подобных специальных ухищрений. Решил быть требовательным, не бояться «обидеть», если парень этого заслужит, не надоедать своим вниманием.

Действительно, через полгода Сережа значительно смягчился, умерил вспыльчивость. Он еще ершился, но почти перестал грубить.

По натуре общительный, Сережа ребячьим чутьем точно определил неподдельный интерес Виталия Андреевича к его мальчишеским заботам, к школьным происшествиям и постепенно стал сам кое о чем рассказывать отчиму.

...Сегодня только Виталий Андреевич открыл дверь, как мальчик, не раздеваясь, еще в коридоре выпалил:

— Проклятый Ромка Кукарекин, опять ни за что ударил!

— А ты?

— Я ответил.

— Правильно.

— Но он сильнее, и мне досталось больше.

— Ничего. Надо подучиться приемам защиты.

— Подучусь. Ненавижу угнетателей!

— Я тоже.

Сережа бросил портфель на пол, нацепил шапку на крючок вешалки, вытряхнул себя из пальто.

— Отхватил двойку по зоологии, — словно бы между прочим и как можно беспечнее сообщил он.

— Почему?

— Не выучил.

— Почему? — уже резче, с нажимом спросил Виталий Андреевич.

Сережа молчал.

— Так можно и уважение потерять.

Сережа дернул плечом, вроде бы: «Ну и ладно!», смело поднял глаза:

— И трояк по литературе.

К себе он всегда беспощаден, щепетильно правдив, даже если это ему невыгодно.

Теперь молчит Виталий Андреевич.

— Зато по геометрии — пять.

— Слабое утешение, — замечает Виталий Андреевич.

Вечером он обнаруживает в дневнике запись классной руководительницы: «На уроке литературы был невнимателен».

— Ну вот, пожалуйста! Чем же ты занимался на литературе? — с огорчением спрашивает Виталий Андреевич.

Ответ, как всегда, правдив, но малоутешителен:

— Обдумывал новую модель самолета.

Что делать с этим мальчишкой, чтобы он, при всем своем увлечении техникой и точными науками, не пренебрегал гуманитарными? Райса рассказывала, что эта склонность проявлялась даже в раннем детстве. Как-то она спросила маленького Сережу: «Что тебе больше всего понравилось в зоопарке?» И услышала в ответ: «Красный трактор».

Может быть, для начала взять себе в помощники Жюль Верна, им прикормить мальчика к чтению? В конце концов, человек есть не столько то, что создала природа, сколько то, что он сам из себя сделал и что создают из него.

Их особенно сблизил день 9 мая — годовщина победы над гитлеровцами.

Еще утром, после завтрака, Виталий Андреевич надел пиджак со всеми наградами, и восхищенный Сережа читал на медали надпись: «За оборону Москвы», приглядывался к югославским, польским крестам... У Виталия Андреевича были, кроме ордена Красного Знамени, еще и две медали «За отвагу», и от них Сережа просто не мог оторвать глаз. «Другую медаль, — думал он, — можно получить и в штабе, а эти — только действительно за отвагу на поле боя... Интересно бы узнать, за что...»

Кирсанов, Райса Ивановна и Сережа вышли во двор. В саду белый цвет так облепил ветви, что они стали похожи на мохнатые початки. Буйно цвела сирень. С Дона тянуло свежим ветром.

Они вышли на главную улицу. Ее зеленая стрела упиралась в телевизионную вышку, устремленную к нежно-синему небу.

Виталий Андреевич любил свой город: тихие аллеи Пушкинской улицы, особнячки Нахичевани — каждый на свой лад, широкие проспекты, словно потоки, вливающиеся в Дон.

Военная судьба забрасывала Кирсанова и в сказочную Азию, и в красавицу Вену, но он всегда как о величайшем счастье думал о возвращении в родной Ростов. Пусть к его руинам, но все равно в город, любимый с детства. Эта любовь удесятирилась позже, потому что Виталий Андреевич вместе с другими заново отстраивал его: сначала в воображении, потом на ватмане.

Расчищал во время субботников перекореженную бомбежками набережную, строил проспект Ленина, Зеленый театр, Дворец культуры сельмашевцев.

Сейчас, когда Кирсанов шел по улице Энгельса, его не оставляло чувство гордости: вот какой мы ее сделали! Надо, чтобы и Сережа привязался к своему городу.

Еще в детстве знал Кирсанов все закоулки Ростова: вброд переходил речку Каменку, продирался сквозь парковые заросли у аэропорта, на пароме переправлялся на «левбердон» — так называли они левый берег Дона, облазил владения Ботанического сада и зоопарка.

В юные годы, работая слесарем на Сельмаше, свободные часы просиживал в библиотеке на тихой Книжной улочке, бегал в драмтеатр смотреть Марецкую и Мордвинова...

Они миновали фонтан на Театральной площади — Гераклы держали на плечах огромную чашу, миновали распахнутый вход в парк Рево-

люции и по Советской улице дошли до Вечного огня, недалеко от памятника Марксу.

Люди шли сюда с цветами. Пионерские отряды — чтобы принести клятву верности погибшим.

Пожилая женщина во всем черном долго стояла у огня, и слезы, казалось, прокладывали неизгладимые борозды на ее щеках.

Виталий Андреевич крепко сжал плечи Сережи, и тот доверчиво прижался к нему.

Позже они сидели на балконе.

Внизу отражались в затоне высокие, стройные колонны элеватора, разливалось курчавое половодье рощ. Насколько хватал глаз, вольно раскинулся Дон, прихотливыми извивами уходил в предвечернюю синеву. По железному арочному мосту прошел поезд на Батайск: промелькнули меж пролетов освещенные окна вагонов, и перестук колес, замирая, утих вдали, как эхо.

Весь день был таким, что сейчас Виталию Андреевичу захотелось поведи с Сережей разговор, как со взрослым, и он начал рассказывать о фронтовой жизни...

Гулко перекликались теплоходы, зажглись рубиновые огни бакенов посреди реки. Медленно и упрямо тянулась против течения длинная баржа. В сторону Старочеркаска, много выше зеленых маковок собора, пролетел пассажирский самолет.

— «ИЛ-18», — безошибочно определил Сережа.

...Пришла Раиса Ивановна, попросила:

— Сережа, спустись в магазин, возьми у тети Шуры сосиски.

Внизу, в их доме, — гастроном. Очень скоро продавщицы стали узнавать Раису Ивановну, а

черноглазая веселая Шура даже оставляла иногда ей, вечно спешащей, что-нибудь повкуснее.

Сережа возвратился минут через десять сердитый и взлохмаченный:

— Никогда больше не посылай меня на нечестное дело.

— Что произошло? — встревожилась Раиса Ивановна.

— Я зашел в магазин и говорю: «Теть Шура, дайте сосиски». А она так строго, фальшивым голосом: «Нет никаких сосисок!» А сама тихо: «Сейчас заверну, плати». Тогда я не выдержал и громко спросил: «Почему вы даете их не всем и при этом тайно?!»

Раиса Ивановна охнула и всплеснула руками:

— Да что же это за недомыслие и донкихотство! Неужели нельзя в твоём возрасте сообразить!..

— Протестую! — сделал энергичный жест рукой сверху вниз Сережа.

Виталий Андреевич стал на его сторону:

— Правду сказать, Раюша, мне тоже было бы не по душе подобное поручение.

Она обиженно замолчала: «Проявлять такое благородство легче, чем пойти и выстоять в очереди». Но позже она решила, что действительно не очень-то последовательна. Ведь терпеть не могла черты «доставалы» у своего первого мужа.

Раису угнетали в Станиславе бесконечная поглощенность его бытовым устройством, иступленное стремление достичь целей, в общем-то, пустячных. Он подпаивал в ресторане своего начальника, заручаясь поддержкой; ради того чтобы добыть модную рубашку, рыскал по торговым базам; бесконечно перезванивался с «нуж-

ными человечками». Все это было совершенно чуждо, даже враждебно Раисе, так зачем же она послала сейчас мальчишку?

Но есть у вопроса и другая сторона. Она в детстве жила трудно, а Сережа сейчас имеет все. Окружен хорошими вещами. Следует ли на них сваливать вину и говорить: «Ты не ведал лишения и поэтому...» Значит что — назад, к трудностям?! Но это нелепо.

Вероятно, безбедная жизнь имеет свои скрытые резервы нравственного воспитания. И красивая одежда, домашний комфорт, при правильном отношении к ним, — не помеха в формировании необходимого нам характера, а помощники.

Только не создавать кумира из тряпок, цветных телевизоров, не омещаниваться...

...Перед сном Сережа сказал Виталию Андреевичу:

— Ни за что, — он отдельно произнес эти слова, — ни за что не буду пользоваться черным ходом!

— И правильно. Ты должен быть в десять раз честнее нас, в сто раз смелее.

— Но у тебя столько орденов... — Сережа впервые сказал «тебя».

— Дело не только в них... Каждый день быть смелым гораздо сложнее.

— Как это?

— Защищать правду. Везде. Чего бы тебе это ни стоило.

Виталий Андреевич в эту ночь долго не мог заснуть. «Не было ли Рае за материнской спиной легче, чем сейчас?» — с тревогой спрашивал он себя.

Правда, он старался, в чем только мог, по-

могать, не признавал деления домашней работы на мужскую и женскую... Да и Сережу настраивал так же. Недавно, когда он предложил мальчику, до прихода мамы, почистить рыбу, Сережа фыркнул:

— Это не мужской труд!

Виталий Андреевич посмотрел иронически:

— Так нам только книжки приключенческие почитать?..

Сережа не нашел, что ответить.

Нет, Рае надо больше помогать...

Виталия Андреевича очень тревожила потрясающая рассеянность и безалаберность Сережи. Он мог в магазине купить книгу, которая уже была в его домашней библиотеке, собратся пойти в школу в домашних туфлях, часто где-то забывал или терял авторучку, перепутывал расписание, всюду опаздывал. Виталий Андреевич подарил ему блокнот и заставил записывать все, что надо сделать, приучал пользоваться будильником. Как-то, отчаявшись, даже накричал на мальчишку, Сережа нахмурился:

— Терпеть не могу сердитых!

— Но я же хочу тебе добра. Значит, нельзя требовать?

Мальчик смягчился.

— Можно, но не так сердито. — И еще мягче: — Я понимаю — ты хочешь воспитывать... Был бы я тебе безразличен, ты не тратил бы на меня свои нервы...

Чувствуя неловкость от официального обращения «дядя Виталий», Сережа стал называть его «Дяви».

— Дяви, у тебя сегодня плохое настроение!

— Да...

— Почему?

Виталий Андреевич открыл дверь в его комнату:

— Посмотри!

На постели валялся глобус, одежда внавал лежала на стуле, стол походил на филиал слесарной мастерской, с той только разницей, что тиски соседствовали с учебником истории, а вылепленный из пластилина марсианин взобрался на рапшпиль.

— Подумаешь, большое дело, — дернул плечом Сережа.

— Может, мне убрать за тебя?

Брови у Сережи страдальчески сдвинулись:

— Несчастье на мою голову!

Он все убрал честь по чести.

Первое время Сережа старался лавировать между матерью и отчимом, выискивая те щели неодинаковых требований, что могли бы облегчить ему жизнь.

— Мам, Дяви сказал... но я...

— Ну, раз он сказал...

— Дяви, мама почему-то запретила, но я...

— Ну, раз она запретила...

Тогда он бросал Виталию Андреевичу с досадой:

— Не пойму, кто из вас главный!

Виталий Андреевич улыбался:

— Оба главные.

Глаза мальчишки сверкали лукаво.

— Но ты выполняешь все, что говорит мама, — сожалея, чуть ли не сочувственно произносил он. — Значит, властвуешь, но не управляешь.

Ах ты же, хитрюга!

— У настоящего мужчины в доме должен

быть патриархат! — невиннейшим голосом продолжал он.

— Я люблю твою маму, и мне доставляет удовольствие делать так, как ей хочется... Но важные решения мы принимаем вместе.

— Ты даже с бабушкой дипломатничаешь. В конце концов, должен в доме чувствоваться глава семейства! — не очень-то последовательно настаивал Сережа.

«Должен, не должен... Видно, парень, ты истосковался по «твердой власти».

Глава третья

Да, с бабушкой было нелегко. Она часто появлялась в доме Кирсановых, очень помогала дочке вести хозяйство, но, сама не ведая, портила внука. Виталию Андреевичу не всегда хватало выдержки, чтобы не вмешаться. Обычно начиналось с пустяка:

— Бабунь, где иголка? Я пришью пуговицу к пальто.

— Давай я пришью.

— Нет, я сам.

— Ты будешь долго возиться. Лучше садись за уроки.

— Да нет, я скоро.

— Давай-давай, а то ты отрежешь нитку вместе «с мясом».

Виталий Андреевич деликатно спрашивал позже:

— И до каких лет, Анастасия Семеновна, он не будет сам пришивать свои пуговицы?

Анастасия Семеновна обидчиво поджимала губы:

— Недолго ждать...

— Ну что вы, Анастасия Семеновна, зачем же так? Мы очень ценим то, что вы для нас делаете. Очень! Но разрешите и мне быть отцом. Вы за то, чтобы я им был?

Губы сжимались еще плотнее:

— По меньшей мере, странный вопрос.

Анастасия Семеновна привыкла быть руками внука, его памятью и совестью. Она проверяла: не забыл ли он взять в школу резинку и портфель, завернул ли тапочки для урока физкультуры, напоминала ему, что пора собираться в школу, что он не подготовил перевод с иностранного.

Под пристальным взглядом Виталия Андреевича мальчишка, все же чувствуя неловкость, пытался делать вид, что он сопротивляется такой опеке, но, скорее всего, она его устраивала.

Как-то Виталий Андреевич спросил Сережу:

— Ты сегодня в бассейне был?

— Нет...

— Почему? Ведь мы же условились, что ты пойдешь.

— Бабушка не велела, говорит, холодно, а я предрасположен к насморку.

Ну это уж было слишком: на дворе стояла теплынь.

— Анастасия Семеновна, — боясь произнести резкое, лишнее слово, начал Кирсанов напряженным голосом, когда они остались вдвоем, — насколько я понимаю, у Сережи есть мать, есть отец.

Вечером Анастасия Семеновна пожаловалась дочери, что ее муж разговаривал с ней в недопустимом тоне, и Райса спрашивала с недоумением:

— Что это на тебя наехало?

Да, с бабушкой было трудно.

Еще задолго до начала летних каникул в семье Кирсановых шло обсуждение: куда держать путь?

Решили отправиться туристами на Кавказ и готовились к этому с увлечением.

Сережа на скопленные деньги купил компас, фонарик, к ужасу бабушки — топорик. Виталий Андреевич — вещевые мешки, палатку. Но неожиданная болезнь Сережи смела все планы. Вдруг выяснилось, что у мальчика неблагополучно с горлом, врачи посоветовали отправить его в детский специальный санаторий на берегу Черного моря. И тут Виталий Андреевич, вообще-то не умеющий и не желающий что-либо «доставать», проявил чудеса напористости. Он в очень короткие сроки провел Сережу через медицинские комиссии, прошел десяток инстанций.

Но вот путевка в руках, все необходимое сложено в вещевой мешок.

На перроне, у специально поданного состава, — толчея. Родители исходили от напутственных криков, делали последние пробежки от ларьков к поезду и обратно.

Полный, вспотевший мужчина в куцей разлетающей совал в окно сыну — такому же круглолицему, как и он сам, — свежий номер «Недели», и через несколько минут не менее пяти папаш делали то же.

Молодая блондинка с мокрыми от слез, подрисованными глазами принесла своей дочке кулек с зефиром и тут же несколько мам сделали то же самое.

Виталий Андреевич стоял молча в стороне и неотрывно смотрел на Сережу. Этот мальчишка занимал в его жизни все большее место. Его

собственный сын, Василий, учится в Ленинграде на факультете иностранных языков, и хотя, конечно, он любит Василия, заботится о нем — тот «отрезанный ломоть» и скоро заживет совершенно самостоятельной жизнью. Если правду говорить, он из-за семейных неурядиц что-то проглядел в сыне, и, наверное, поэтому вырос Василий слишком рассудочным, слишком озабоченным своей персоной.

Теперь вот с этим мальчишкой ни за что не хотелось повторять ошибки.

Поезд тронулся. К окну потянулись последние бутылки сидро, замахали руки, высунулись головы из окон.

— Сереженька, береги горло! — надсадно наставляла бабушка. — Пиши три раза в неделю!...

А мальчишка по-взрослому покачал Виталию Андреевичу несколько раз ладонью из стороны в сторону, словно медленно что-то стирал с доски.

Сперва от Сережи⁴ приходили послания-отписки, из которых невозможно было понять, хорошо ему там или плохо. Потом в его письмах стали проступать какие-то мрачные нотки. И наконец один за другим, как сигналы SOS, помчались вскрики:

«Возьмите меня отсюда! Мне здесь плохо! Не могу больше!..»

Кирсановы не на шутку встревожились. Написали письмо воспитательнице, но ответ получили неясный. Вызвали Сережу к телефону, однако чувствовалось — около него стоит кто-то, мешающий ему говорить, как хотелось бы, и потому отвечает он коротко, сдержанно:

— Сережа, как ты живешь?

— Не очень...

- Ну что такое?
- Да так...
- Тебе там плохо?
- Да...
- Но что именно, что?

Молчание.

Виталий Андреевич решил поехать на день-другой в санаторий, успокоить мальчика, чтобы он долечился. Ему очень нелегко было получить эти несколько дней на работе, их согласились дать только в счет будущего отпуска.

Он сошел с поезда часов в девять утра.

Кипарисовая аллея понуро и терпеливо переносила бешеные струи тропического ливня. Вдали, словно сквозь стеклянную стену, виднелась гора: в темной гуще зелени на ее склонах проступала белая прядь водопада.

За поворотом аллеи показался деревянный дом, затканый диким виноградом.

Здесь Виталий Андреевич и нашел главного врача санатория, добродушную немолодую женщину. Она даже обрадовалась:

— Хорошо, что приехали. Он вас ждал.

— А где Сережа сейчас?

— В изоляторе.

— В изоляторе? — испуганно переспросил Виталий Андреевич, и воображение мгновенно нарисовало ему картину какого-то тяжкого заболевания.

— Да вы не волнуйтесь, — как ему показалось, виновато произнесла женщина. — Мы решили оградить Сережу от неприятностей.

Оказывается, в этой смене подобралось несколько хулиганистых парней. Они воровали, затевали драки.

— Сережа, видно, не пожелал с этим ми-

риться, и его они особенно невзлюбили... Двух мы отчислили, а Сережу на время упрятали... Даже пищу туда ему приносят.

Странная ситуация. Странное решение.

— А как у него сейчас со здоровьем? — спросил Виталий Андреевич, с трудом сдерживая себя.

— Хорошо. Он в санатории получил все, что надо.

— Вы не будете возражать, если я его увезу несколько раньше срока? Есть некоторые семейные соображения...

— Нет, пожалуйста...

— Можно мне сейчас пройти в этот... изолятор?

Он вошел в другой деревянный дом, стоявший на отшибе, за парком, тихо приоткрыл дверь.

В большой по-больничному обставленной комнате, в полнейшем одиночестве, спиной к нему, сидел за столом Сережа и что-то неохотно ел. Его маленькая печальная фигурка, согнутая спина, тоскливый шум дождя за окном так подействовали на Виталия Андреевича, что у него защемило сердце.

Мальчик оглянулся и вскочил. Лицо его радостно просияло:

— Папа! Приехал!

Виталий Андреевич обнял Сережу. На пороге появилась пожилая нянечка.

— Вот, приехал! — объявил Сережа. Ему еще трудно было при постороннем человеке повторить слово «папа».

— Ну и хорошо. Вы к нам надолго?

— Здравствуйте. Мы через час уезжаем.

— Через час?! — ликуя, воскликнул Сережа.

И потом все время, пока они складывали вещи, шли на станцию, и на вокзале, и в поезде его не оставляло радостно-приподнятое настроение.

В вагоне-ресторане он с величайшим удовольствием уплетал рагу, и Виталий Андреевич, поглядывая на худые руки, вытянувшееся лицо мальчика, с недоумением спрашивал:

— Не ел ты там, что ли?

— Аппетита не было. А тетя Паща, повариха, советовала: «Ешь картошку с простоквашей, так нажористой». — Он весело рассмеялся. — А мне не хотелось. И говорить не хотелось. Чуть что скажешь, воспитательница кричит: «Разговори!». Ее ребята так и прозвали — «Разговори».

Возвратясь в купе, они попросили у проводницы шахматы. Когда она их принесла, Сережа доверительно сказал ей:

— Постараюсь обыграть... папу.

Он будто привыкал, недоверчиво и нежно притрагивался к этому слову, казалось, соскучился по его звучанию и наконец-то снял с себя какой-то им же самим придуманный запрет.

Когда они подъезжали к Ростову, Виталий Андреевич спросил:

— А с чего начались твои баталии... там, в санатории?

Мальчик сидел, поджав ногу под себя.

— Понимаешь, однажды, уже перед сном, Гуркин — ему пятнадцать лет — ударил Рафика... Он только в четвертый класс перешел. Я подошел к Гуркину и говорю: «Если ты посмеешь обижать слабых...» И, знаешь, он хвост поджал, только сразу возненавидел... Когда меня в изолятор перевели, Рафик тоже туда просился, да ему не разрешили...

Сереза хотел добавить, что Рафик все же приходил к нему и, между прочим, спрашивал, хороший ли у него отец. Он ему ответил: «Хороший... Воспитательный...».

Но что-то удержало Серезу от этих подробностей.

Поезд прогрохотал по железному мосту через Дон. Приближались огни города.

Глава четвертая

Раиса Ивановна пошла на родительское собрание. Сереза — в кружок авиамоделлистов, а Виталий Андреевич решил почитать.

Последние несколько недель в доме Кирсановых была паника. У Виталия Андреевича появились в области живота какие-то странные боли. Рентгеновское исследование вызвало подозрение. Раиса стала водить его по врачам, добыла лекарство, о котором говорили, что «легче достать с неба звезду». Успокоилась она только тогда, когда профессор из мединститута решительно отверг мрачное предположение и объявил, что это гастрит. Боли мгновенно прекратились, словно только и ждали, чтобы их сочли неопасными.

Виталий Андреевич усмехнулся, с признательностью подумал сейчас о жене: «Все-таки важно иметь надежный тыл».

Он открыл роман Эрве Базена «Ради сына». Роман этот в прошлый раз «не пошел», а сейчас вообще раздражал: какая-то чудовищная патология. Призыв во имя сына к унижительной жертвенности, попиранию собственного человеческого достоинства. Он захлопнул книгу. Нет, отношения должны строиться на совершенно иной основе.

Мы долгие годы были под гипнозом фальшивой уверенности: «Все для детей. Наша жизнь — им». Но почему так, а не наоборот? Подросшие дети не меньше, а, может быть, даже больше обязаны заботиться о родителях. Сережа должен стараться, чтобы лучшая вещь была куплена прежде всего маме, лучший кусок за обедом достался ей, чтобы она отдохнула, а он за нее поработал... И так из поколения в поколение.

Вчера Сережа нагрубил матери. Виталий Андреевич сказал:

— Ты не прав.

Сережа, опустив голову, молчал. Позже признался:

— Ты еще плохо понимаешь мой характер. Я вот и вижу — не прав, а не могу подойти извиниться... Ни за что! Прямо не знаю, что со мной творится?

— Но ведь надо когда-то улучшать свой характер!..

— Надо...

Виталий Андреевич пошел в комнату, разыскал сигареты и снова возвратился на балкон.

«Ну хорошо, он назвал меня отцом, — думал Кирсанов. — Это очень приятно... Но семью-то надо возводить... Я уже потерпел горестный провал однажды, так неужели это ничему не научило?»

Первая семья у Виталия Андреевича не сложилась и, хотя просуществовала довольно долго — тринадцать лет, распалась, как ни оттягивал он этот трагический конец.

Его первая жена, Валя, была красива, неглупа и, как позже подтвердила жизнь, стала хорошей женой другого человека. Виталий Андреевич не раз думал: почему она избрала сначала

именно его? Ей, видно, хотелось полюбить, она мечтала полюбить, и вот такая возможность, как она решила, появилась. Валя щедро наделила Виталия всеми идеальными качествами, искренне верила в свое чувство, но, по существу, по самому глубокому существу, чувство это было придумано и потому непрочное.

Им обоим не хватало выдержки, терпения складывать семью, истинного желания делать это. Не хватало усилий стойко преодолевать изнурительные мелочи совместной жизни. Они не понимали, что опаснее всего доводить мелкие «пограничные конфликты» до взрывов, а болезнь ссор загонять внутрь, не знали или не хотели знать, что нет ржавчины опаснее ржавчины мелочности, что надо уметь в чем-то и поступиться — вкусами, привычками, порой промолчать; ничего не делать назло, день за днем крепить отношения, а не рушить неосторожным словом или поступком.

Процесс этот долгий и нелегкий. Но если подобное желание в тебе прочно, ты будешь терпимее, будешь опираться на благородные чувства и доверие.

— Как часто затянувшаяся игра в «кто главнее» приводит к печальным результатам.

Какая цена любовному щебету, если он легко сменяется оскорблениями? Что пылающая страсть, если нет готовности и умения преодолевать утомительность будней, подставлять плечо спутнику жизни, ценить его внутренний мир!

Да и мать Вали — женщина властная — внесла немалый вклад в развал, прибрала к своим рукам их сына Василия, отредила его родителей от забот о нем.

В миллионный раз горько подтвердилась исти-

на, что молодые должны строить свою жизнь сами.

Правда, Кирсанов позже, когда они уже разошлись, спохватился: постарался приблизить сына; летом брал его к себе, и они вместе уходили в горы, плавали долго на теплоходе. Перед поступлением Василия в институт отец весь отпуск занимался с ним английским языком; в студенческие годы помогал деньгами. И все же, как отец, он не сумел восполнить то, что упустил по молодости и глупости. Василий перенял от бабушки и отношение к людям — сверху вниз, с покровительственной усмешкой, и убежденность, что все ему что-то должны, а он никому ничего не должен.

Очень хотелось, чтобы Сережа вырос другим...

Сережа и Виталий Андреевич решили пройти берегом к Ворошиловскому — посмотреть, как строят новый мост через Дон. За четыре квартала ходьбы Сережа умудрился задать, по крайней мере, двадцать вопросов, он был начинен ими.

Спрашивал о газовом реакторе, термоэлектронном генераторе, академике Курчатове, кибернетике, о том, действует ли магнит в вакууме?..

Просто невозможно было знать все то, что он вычитывал в полдюжине технических журналов.

Если говорить правду, Виталию Андреевичу иногда неприятно было отвечать «не знаю», он даже немного уставал от своей беспомощности, раздражался. Поэтому и сейчас постарался отвлечь внимание Сережи от потока вопросов:

— Да хватит тебе решать кроссворды. Луч-

ше повнимательней оглядись. А то идешь, чудак человек, по земле, а витаешь в заоблачной дали.

Народу в этот час на всей набережной еще немного. Кирсанов и сам с любопытством приглядывается. Стоит у причала девчонка со смешно выдвинутыми вперед коленками. Величаво пронесла себя женщина в белом пальто, будто в халате. Ловит удочкой рыбу старик. На нем серая войлочная шляпа так подвязана, что хлястик ее похож на козлиную бородку. Старик сдернул шляпу, и под ней оказались такие же серые, словно из войлока свалянные, волосы. К нему подошел рыбак помоложе:

— Как дела, Кузьмич?

— В надежде, — неожиданно тонким голосом ответил старик, подмигнув Сереже.

Сереже вдруг стало весело и очень интересно. Действительно, гляди кругом да гляди.

Белыми птицами скользят по Дону яхты, оставляя за кормой пенный гребень, умчался в сторону Азова крылатый «метеор»; взывая сиреной, приближается к пристани электроход «Космонавт Гагарин» из Москвы; зажглись огни кафе «Донская волна» с навесом, похожим на цветные волны. А от него, от этого кафе, вверх по Буденновскому взбираются девятиэтажные дома, вглядываются ясными веселыми окнами в степные дали, в запруженную машинами дорогу на Батайск, в кудрявый Зеленый мыс на другом берегу реки, в задонские рощи. Ветер доносит до Сережи запах масляной краски, бензина, свежей рыбы, осенней донской воды, цветочных клумб.

А вон и мост, его довели уже до середины Дона.

— Ты знаешь, какая длина пролетов? — спрашивает Сережа у Виталия Андреевича.

Возвратились к семи. Сережа нажал кнопку лифта, и он шустро выскочил откуда-то из ближней засады. Сережа распахнул дверцу, пропуская Виталия Андреевича:

— Кар-р-рета подана!

Раиса Ивановна встретила их гневно:

— Хорош сыночек, ничего не скажешь!

— Что случилось? — обеспокоился Виталий Андреевич.

— Успел понахватать двоек по истории — не учит даты. Стыдно было глядеть в глаза Виктору Константиновичу. Я у него всегда получала пятерки.

Сережа учился в той же школе, в которой когда-то училась и Раиса Ивановна, даже знал ее парту. Она сейчас в десятом «А» — справа, в третьем ряду, возле окна. Сережа давно уже решил, что, когда перейдет в десятый, будет сидеть именно за этой партой.

— Неорганизованная материя, — виновато пробормотал Сережа, пытаясь за шутливостью скрыть неловкость.

Виталий Андреевич нахмурился, иронически сказал:

— Придется срочно вызывать бабушку... Без нее ты, пожалуй, не осилишь хронологию.

— Мало того, — сердито сверкнула глазами Раиса Ивановна, — мне одна родительница сообщила, что он, видишь ли, завел роман с девчонкой из их класса.

Сережа побагровел до слез.

— Ты бы постыдилась сплетни слушать! — крикнул он ломким баском.

Виталий Андреевич впервые подумал, как вырос парень за последние год-полтора, вспомнил, что Сережа, прежде совершенно равнодушный к своей внешности, теперь старательно зачесывал чуб набок, долго отглаживал свои брюки и делал вид, что безразмерные носки Виталия Андреевича надел по ошибке.

Сейчас Кирсанов вдруг увидел даже темные волоски у него над губой.

— И правда, Раюша, к чему нам собирать подобного рода информацию? — успокоительно сказал Кирсанов, привлекая к себе Раису Ивановну.

Но она непримиримо отстранилась:

— Кавалер сопливый! Лучше бы даты выучил...

Позже, когда Сережа, как они полагали, уснул, Виталий Андреевич мягко корил жену в соседней комнате:

— Ну можно ли так?! Вспомни себя в тринадцать лет. Наоборот, надо пригласить девочку к нам в дом, пусть дружат!

— Не надо мне это здесь! И насчет бабушки ты напрасно съязвил.

Сережа прислушался к разговору.

— Вот принесет еще двойку, так выдеру, что на всю жизнь запомнит! — слышался голос мамы.

Сережа вздохнул: «Необузданный характер».

Он матери как-то сказал: «Рукоприкладство воспитывает раба»...

Спор в соседней комнате не утихал:

— С ним надо обращаться так, как ты хотела бы, чтобы он обращался с тобой... Право же, я начинаю понимать слова Маркса: «Дети должны воспитывать своих родителей».

«Вот, пожалуйста, даже Маркс сказал!» — уже засыпая, подумал Сережа.

Глава пятая

Утром в воскресенье мама взяла Сережу с собой на базар — помочь нести сумку. Он каждый раз отправлялся в этот поход с удовольствием.

Причудливо сплетаются железные узорчатые балки высоко под потолком мясного рынка, отчего он походит на вокзал, украшенный огромными картинами: на зеленых лужайках пасутся тучные стада коров. В молочном павильоне по обе стороны зала голубым пунктиром тянутся весы, над ними стоят женщины в белоснежных фартуках. Влажно поблескивает творог, заманчиво притягивают к себе коричневые пенки топленого молока в банках, желтоватые айсберги сливочного масла.

Кажется, со всего света привозят на этот рынок добро: янтарный кубанский мед, налитые соком груши Армении, азовскую бледную сулу, пухляковский виноград, отливающие изумрудом астраханские арбузы в полосатых пижамах.

Вкрадчиво зудит точильное колесо, женский голос зазывно выкрикивает: «Ванэль, ванэль». Остро пахнет укропом, нежно — антоновкой, тянет сыростью от вяленой рыбы.

...Когда пришли домой и мама начала готовить обед, Сережа зашел к ней на кухню:

— Помочь?

— Обойдусь!

Сережа выскочил на балкон.

Внизу проплыл, дружелюбно сигналя, белоснежный трехпалубный теплоход.

Сережа запел на мотив «Рябины»: «Ой, мамина кудрявая, что взгрустнула ты!»

«Выдумщик», — ласково думает Райса Иванов-

на, но тут же в сердце ее закрадывается и тревога. Мальчишка растет, а организованности, послушания в нем почти не прибавляется. Появилась новая тактика: внешне со всем соглашается, а сам делает по-своему. «Сережа, читать в темноте вредно». — «Не спорю, вредно», — механически повторяет он, продолжая читать. «Сережа, надень свитер». — «Ладно, ладно, ладно» (как «отстань, отстань, отстань»). И не надевает. «Сережа, некрасиво вытирать нос пальцем». — «Правда, некрасиво», — но платок не достает. Конечно, влияние Виталия уже сказалось — мальчик стал сдержаннее, добрее, напористее. Но, боже мой, как это все медленно к нему приходит. Гораздо медленнее, чем хотелось бы...

Вот вчера ни с того ни с сего взъерепенился: «Ты уже упрекала меня, что я не поздоровался с соседкой, так зачем напоминать снова?» — «Но ты с одного раза не запоминаешь». — «Не бойся, запомню!» Ох, надо взяться за этого кавалера как следует!

— Теплоход «Александр Невский» из Ленинграда! — снова появляясь в кухне, объявляет Сережа.

— Слушай, дружок, ну а в школе ты числишься в активе? — спрашивает Райса Ивановна,

— В каком смысле?

— В общественном.

— Да вроде бы...

— А точнее?.. Я, например, в седьмом классе была делегаткой областного слета пионеров.

— До делегата мне далеко, — с сожалением говорит Сережа, — но грамоту за сбор макулатуры честно заработал.

— Не густо. Почему же не показал грамоту?

— Не люблю задаваться. Знаешь английскую

поговорку: «Кто добр поистине — добро творит в молчании»?

Раиса Ивановна смотрит с удивлением.

— И еще получил благодарность по школе за оборудование физического кабинета.

«Нет, общественная струнка в нем, пожалуй, есть».

— Ты думаешь, я нетрудолюбивый?

— Почему же? Я так не думаю... Только выборочно трудолюбивый... А скажи, кто эта девочка... с которой ты дружишь?

Он на мгновение смущается, но выпаливает:

— Девочка как девочка! — И снова выскакивает из кухни.

Ну, положим, не девочка как девочка, а самая лучшая у них в школе, а может быть, и в городе.

Умная, веселая, с ней всегда интересно. Какая у нее внешность? Он бы не смог ответить на этот вопрос. Она ему нравилась, как он сам определил, миловидием... На нее хотелось все время смотреть. И слушать. Голос у нее... Такими голосами, наверно, в больнице людей лечивают: очень спокойный и теплый.

А с чего все началось? Варя появилась у них в классе недавно. Потом он случайно встретил ее в кондитерской «Красная шапочка». Зашел просто так, поглазеть на прилавки, а она грильяж покупала.

— И ты здесь? — приветливо сказала Варя, как старому знакомому. — Хочешь?

Она поглядела бесхитростно, протянула кулек. Но Сережа, конечно, отказался. Они вместе вышли из магазина. Девочка увлеченно покусывала грильяж.

Сереза шел рядом независимо, подбивая коленкой свой портфель.

— Ты в Ростове давно живешь?

— Я родился здесь.

— А я из Свердловска приехала. Тоже хороший город.

«Ага, «тоже», — с удовольствием отметил про себя Сереза.

Они свернули вниз, к Дону, миновали просмоленные плоскодонки возле маленьких домов, прилепившихся к спуску, и зашагали вдоль набережной.

Небо было какое-то замкнутое, словно ожидало перемен.

— Угадай, в каком ухе звенит? — приостановившись, неожиданно спросила Варя.

Ветерок растрепал ее волосы, и веселый синий глаз выглядывал из-под золотистой копны.

— В левом.

— Как ты узнал? — удивилась Варя.

— Обычно звенит в том ухе, которое ближе к стене. А у тебя левое ухо ближе к киоску, — рассудительно объяснил Сереза.

— Вот не знала! — с поткой почтительности в голосе сказала Варя. — Ты литературу любишь?

— Предмет? — настороженно спросил Сереза, незаметно шмурыгнув носом. Платок он, конечно, опять забыл.

— Нет, читать...

— Смотря. что, — дипломатично ответил он. Но, вспомнив, что дома ждет «Тайна замка Горсорт-Грейндж» Конан Дойля, уже увереннее воскликнул: — Да еще как!

— А я люблю слушать город, — мечтательно произнесла Варя.

— Как это?

— Ну слушать, что вокруг. Вот давай...

Она оперлась локтем о тумбу набережной, положила щеку на ладонь и прислушалась.

Издали, от ремонтных верфей, доносились звон железа и рокот лебедки. У самого берега безбоязненно встряхивались утки. Вспорол речную гладь глиссер. Голос диктора, усиленный рекой, объявил: «Началась посадка на «Ракету-88» до станицы Багаевской».

— Пойдем посмотрим новый кинотеатр! — предложил Сережа.

...Еще издали Сережа и Варя увидели голубовато-зеленые огни. Театр весело поглядывал через дорогу на университет, на поток машин.

«Сказать Варе, что этот театр мама строила? Нет, пожалуй, не надо. Может подумать, что хвастаюсь».

Варя вдруг спохватилась:

— Ой, загулялись! Мама волнуется! Смотри, уже «Вечерку» продают.

Действительно, к газетному киоску выстроилась цепочкой очередь за «Вечерним Ростовом». Значит, было больше четырех.

Глава шестая

После обеда Райса Ивановна ушла. Сережа предложил отцу:

— Давай немного поиграем в Шерлока Холмса?

— Давай, — охотно согласился Виталий Андреевич.

Сережа извлек из кармана брюк небольшой перочинный нож, положил на свою ладонь:

— Вот! Что ты можешь сказать об этом предмете?

Виталий Андреевич бросил беглый взгляд на нож.

— Судя по тому, что цепочка утеряна, его хозяин довольно рассеянный человек. — Он сделал короткую паузу, раскрыл нож. — Лезвие погнуто. Значит, его употреблял не по назначению какой-нибудь представитель неорганизованной материи.

Сережа подскочил от удовольствия:

— Метод индукции — от частного к общему!

— Совершенно точно. Ты знаешь, я сейчас вспомнил один... частный разговор с отцом. Он сказал: «Манную кашу человек ест в начале жизни и в конце ее. А в середине надо давать пищу для крепких зубов». Соображаешь?

Сережа хитро прищурился:

— Ты хочешь сказать: даже кутенку неспроста дают глодать кость, да?

— Я хочу сказать, что незачем дольше срока считать себя кутенком.

Сережа по старой привычке дернул плечом, коротко, протестующе воскликнул: «Ну-ну!», однако без прежней резкости. Теперь он разрешал Виталию Андреевичу делать неприятные замечания.

«Да, конечно, какой же я кутенок... — думал он. — А мама этого не понимает. И надо иметь просто ангельский характер, чтобы выдержать ее вспыльчивость».

Недавно он имел с ней неприятный разговор. «Очень я боюсь, что вы разойдетесь», — сказал он. «С чего это мы будем расходиться?» — «Да характер у тебя...» — «Такой уж тяжелый?!» — с обидой спросила мама. — «Он может тебя бросить». — «Не бойся, не бросит». — «А ты?» —

«Что — я?» — «Ты не бросишь?» — «Придумал!» — «Первого же бросила...» — «Там были веские основания». — «Он был плохой человек?» — «Вырастешь — сам определишь». «Но если теперь поссоришься, подумай и обо мне», — сурово сказал Сережа. — «Ну хватит, мудрец! — прикрикнула мать — Слишком много на себя берешь».

Вечером они пили чай на балконе — мамы все еще не было. На стол накрывал Сережа. Усмехнулся: «Бабушка не допустила бы».

Сереже нравилось оставаться вдвоем с Виталием Андреевичем. У них были свои, чисто мужские интересы и разговоры.

Он приподнял голову над перилами балкона, вглядываясь в степь: казалось, там горят волчьи глаза. Знал, конечно, что это огоньки селения, но интереснее было думать, будто волчьи глаза.

По самому гребню горизонта двигались светлые жучки — фары машин. Почему-то пахло надрезанным арбузом.

Сережа поглубже забился в шезлонг.

— Сказать тебе по секрету? — тихо произнес он. — Это не тайна, но я тебе одному...

Виталий Андреевич положил руку ему на колено, подбадривая и, конечно, догадываясь, что сейчас услышит.

— Разве это плохо — дружить с девочкой? — спросил Сережа.

— Совсем не плохо.

— Ее зовут Варя... Я тебя когда-нибудь познакомлю...

— Буду рад этому.

— Почему тебе я могу все что угодно рассказать? — недоуменно пожал плечами Сережа.

— Ну, положим...

Они разом вспомнили тот неприятный случай.

В прошлую среду Кирсанов увидел на ладони у Сережи написанное химическим карандашом бранное слово.

На лице Виталия Андреевича отразилось такое огорчение, презрение, что Сережа стал лихорадочно стирать надпись, не находя оправдания. Ну мог ли он сказать, что из лихачества поспорил в классе с Федькой Гладышевым, дразнившим его «маменькиным сынком», поспорил, что сутки проносит эту надпись на ладони? Гладышев сделал ее... Потом Сережа совсем забыл...

Виталий Андреевич тогда смолчал, а позже корил себя за это молчание. Следовало бы отчитать мальчишку. Но, возможно, достаточно было Сереже и взгляда... Да Виталий Андреевич и не разговаривал с ним два дня... Сережа ходил пришибленным...

...Нет, правда... Тебе я могу все рассказать,— повторил он сейчас и осторожно погладил руку отчима.

Сережа давно заметил, что Виталий Андреевич не очень-то расположен к сентиментальной нежности, как назвал он ее однажды, сдержан в своих чувствах. И сам старался в этом подражать ему. Он как-то случайно услышал слова, сказанные маме: «У парня в характере недостаток металла». Мама же ответила: «Что ты хочешь — вечное женское окружение».

Виталию Андреевичу действительно не нравились некоторые наклонности Сережи. Хотя он обнаруживал в нем немало и обнадеживающего. Мальчик, например, был совершенно неприятелен в еде, питал полнейшее презрение к холоду: даже зимой спал с открытой форточкой;

принципиально в сильные морозы не носил перчаток, и поэтому руки у него были красные, шершавые; вел бои с матерью по поводу нижнего белья. («Не надену! Я тебе не девчонка».)

Он не боялся высоты, и однажды неуклюже, но отчаянно полез по отвесному валу, цепляясь за малейший корень, торчащий из земли.

Как-то, еще в первые месяцы появления Сережи в доме Кирсанова, Виталий Андреевич завел разговор о спорте.

— Сожми кулак, — предложил он Сереже. — Ну вот, ты сжимаешь его, как девочка: большой палец кладешь поверх указательного. И походка у тебя какая-то развинченная, даже садишься на диван боком...

— Неправду! — вспыхнул Сережа. Он именно так и сказал: «Неправду».

— Нет, правда! Не думай, что я пытаюсь унижить тебя или оскорбить. Хочу видеть тебя парнем, а не... — Чуть было не сказал «бабушкиным внучком», но вовремя остановился, — кисейной барышней.

— Я и не кисейная барышня! — строптиво мотнул головой Сережа.

— А ну, согни руку. Ну разве это мужские мускулы?

Сережа молчал.

— Нет, ты подумай хорошенько: как стать юношей.

Самолюбивый мальчишка, видно, намотал этот разговор на ус, бегал в спортивную школу и понемногу менял свой облик.

— Ты меня действительно любишь? — в обычной своей манере вдруг спросил Сережа, вглядываясь в лицо Виталия Андреевича.

Это было из «той оперы», времен женского окружения.

— Действительно.

— Не ошибаешься?

— Нет.

— На каком я месте?

— То есть?

— Ну вот мама — на первом, потом, наверное, — Василий, а я?

— Делишь с мамой первое место.

— Это правда? — Глаза мальчишки лучисто засияли.

— Абсолютная...

— Твой Василий когда приезжает?

— Завтра.

— Интересно, какой он? — задумчиво сказал Сережа и почему-то помрачнел.

..Но Василий прислал телеграмму, что планы изменились, и он летит прямым рейсом в Ленинград.

Сережа видел, с какой горечью прочел эту телеграмму отец, а ему бодро сказал:

— Жаль! Василий не сможет заехать. Ну ничего, в другой раз познакомитесь.

И Раиса Ивановна искренне огорчилась, но подумала: «Кто знает, какой была бы встреча!»

Виталию Андреевичу в эту ночь не спалось. Он тихо оделся и спустился вниз, к Дону. Река походила на безлюдную дорогу. Холодное небо сверкало синими огнями. С тихим шелестом падали, покачиваясь, листья. Казалось, они осыпаются все разом, устилая землю золотистым ковром.

Вспомнилась другая такая же ночь — в их селе Песчанка, на Саратовщине. Его мать умер-

ла, когда ему было два месяца, и воспитала его добрая, самоотверженная женщина — фармацевт Дарья Семеновна. Однажды ночью — ему тогда уже было, как Сереже, лет четырнадцать — он проснулся от ощущения, что за окном идет дождь. Прокрался в сад — и увидел: под беспощадным небом вот так же осыпались листья. Еще накануне небо было ласковым, звезды казались близкими. И вот светили холодно, отчужденно взирали на мир, словно строго о чем-то вопрошали его.

Давно нет в живых мачехи, Дарьи Семеновны, и сам он отчим... А Василий оставил в сердце новую ссадину.

«В чем состоял просчет мой как отца? — снова и снова спрашивал он себя. — Видно, слишком скуп я был на душевное тепло... Недостаточно близок... А только это делает отца отцом».

Да, Василия он упустил. Иначе не было бы у того уверенности, что мир лишь для него и важно только его собственное самочувствие. Иначе Василий не стремился бы выжать все, что можно, из бабушки, матери, отца и непременно приехал бы...

Глава седьмая

Сережа уже часа два возился в своей «экспериментальной мастерской». Так назвал он кладовушку возле кухни, куда, с благословения мамы, притащил когда-то старый трансформатор, куски фанеры и паяльник.

Сооружения из консервных банок, разобранных ходиков и бывших в употреблении предо-

хранителей были начальной продукцией этой мастерской. Виталий Андреевич купил Сереже набор инструментов, добыл листовой дюраль, резину для колес, помогал мастерить радиоуправляемую модель самолета «Оса». Но кустарщина кончилась, когда Сережа записался в городской кружок юных ракетчиков и стал часами пропадать «на космодроме Звездного городка».

Теперь мастерская стала играть чисто подсобную роль.

Время, когда Сережа собирал деньги на покупку микродвигателя и запрашивал Союзпосылторг, можно ли приобрести реактивный двигатель, осталось далеко позади.

В «Звездном городке» руководитель кружка инженер-конструктор Павел Иванович учил ребят делать чертежи корпуса ракет, разрабатывать «топливо», проводил с ними замер высоты полетов тех ракет, что они строили, составлял разные графики.

Они даже запустили в небеса лягушку, и эта путешественница вполне благополучно приземлилась на парашюте.

У них в «Звездном городке» появился свой «генеральный конструктор» — Федор Громов из девятого класса и «главный теоретик» — очкарик Платоша из Сережиного класса. Ну этот — прямо восьмое чудо света: лоб шишковатый, между бровями, как у мыслителя, пролегла глубокая морщина.

Физику, химию, космонавтику Платошка знает, как бог.

Вот обещал прийти в 18.00, значит, сейчас будет. Точность — его первейшее качество. И действительно раздался условный звонок: два

коротких, один длинный и снова два коротких. Платоша!

Он пришел не один, а с Венькой Жмаховым из седьмого «Д». У Веньки подвижное, белокожее, с хрящеватым носом, лицо, язвительная складка губ. Волосы на голове всегда такие, будто он недавно выкупался, а обсохнуть толком не успел. На тонкой шее перекачивается классический кадык. По поводу этого кадыка Венька сам острит: «Мне бы петь, но я умею только кукарекать» — он и впрямь здорово выводит петушинные рулады. Юркого, неугомонного Веньку вся школа чтит как острослова и знатока истории. Он вышел победителем даже на городском конкурсе юных историков, заработал путевку для поездки в Ленинград.

— Приветик звездоплавателю! — картинно потряс узкой ладошкой над нечесаной головой Венька и, плюхнувшись в кресло, сообщил: — Сенсация века: получил сегодня пятерку у Жанны!

Жанна Ивановна преподавала математику во всех седьмых классах их школы. Это была женщина резкая, решительная. Если смотреть на ее профиль, то лоб и нос Жанны составляли одну сильно выгнутую линию — «параболическую», язвили семиклассники.

Они же говорили: «Губы у математички потому такие тонкие, что она их все время покусывает, а сама Жанна сделана «из змеиных спин»».

Свою пятерку Венька назвал сенсацией неспроста: он не вылезал у Жанны из двоек и худосочных троек.

— Ну можешь же! — одобрительно посмотрел Платоша, прижав очки-колеса к широкой переносице.

— Рассказал биографию Пифагора.

Платоша с недоумением нахмурил высокий лоб.

— Насколько мне помнится — она неизвестна, — по своему обыкновению немного заикаясь, заметил он.

— Вот в этом и весь фокус! Начало я сам придумал. Потом немного занял из биографии Демокрита. Жанна довольно покусала губы и сказала, что я и у вас в классе все повторяю... А? Ну что? Царь я или не царь?

Этот вопрос Венька Жмахов любил задавать на десятки ладов и с десятками оттенков: грозно, просительно, недоуменно, вяло...

— Благодарность слушателей тебе гарантирована! — От удовольствия Сережа прищелкнул языком и сделал вид, что садится на колени Жмахову, но сел рядом, на пол. Представив торжественную Жанну, расхохотался.

— Уймись, Лепиха, — солидно произнес Венька. — Клянусь кадыком, ты погибнешь от смеха.

— Братцы, — воскликнул Сережа, поднимаясь с ковра, — могу показать новый приемчик обороны!.. Закачаешься и упадешь!

— Эт-то любопытно, — протянул Платоша, всегда несколько стыдившийся своей неуклюжести, слабосильности. — Уговорил!

— Дуров даже слона уговаривает, — сострил Венька, но и сам заинтересовался: — А ну дай, показывай.

Глава восьмая

Ничто с утра не предвещало бурю, которая разыгралась к вечеру.

Наоборот, с первой минуты, как только Сережа вскочил с постели, его охватила радость, не оставлявшая целый день. Шутка сказать — ему четырнадцать лет! Можно считать, пятнадцатый.

Папа подарил свой бинокль. Будто прочитал мысли Сережи: он мечтал об этом бинокле. Мама, по своему обыкновению, преподнесла «нужную вещь» — новую куртку. Вот уж не любил в дни рождения получать эти «нужные вещи», но от них никуда не денешься.

К завтраку приехала бабушка, привезла коврижку — любимое лакомство внука.

Совершенно незамеченным прошло, что «тот отец» не прислал даже поздравления.

Перед самым уходом родителей на работу Сережа сказал, зная, чем можно их порадовать:

— Сегодня возьму анкету, буду в комсомол вступать. Да, кто из вас пойдет на родительское собрание? В восемнадцать тридцать.

Виталий Андреевич и Райса Ивановна переглянулись.

— Вместе пойдем, — сказала мама.

— О-го-го! Это уж слишком!

— Ничего. Организованными рядами...

Кирсановы зашли в Сережин класс, когда там сидели почти все родители. Виталий Андреевич и Райса Ивановна тоже втиснулись за парту у задней стены.

Райса Ивановна здесь многих уже знала: вот у окна — отец Платоши, подтянутый, с зоркими глазами, полная противоположность сыну. Но что-то было в них и общее: может быть, доброе выражение лица, немного застенчивая улыбка? Справа, у входной двери, — Варина ма-

ма. Каштановые волосы ее подстрижены коротко, уложены по-модному, взгляд жив, умен, насмешлив и спокоен. Лицо не назовешь красивым: глаза слишком маленькие, нос длинноват и приподнят мысиком. И все же оставалось впечатление обаятельности, естественности. Интересно, похожа ли на нее дочка?

Классная руководительница Сережи — добрейшая Таисия Самсоновна, — сжав пухлые пальцы маленьких рук, начала рассказывать о делах своих подопечных, у кого какие оценки за четверть, кто и как участвует в общественной жизни школы.

— Родителей Сережи я должна огорчить, — сказала Таисия Самсоновна, и на ее лице отразилось искреннее огорчение. — Недавно он подрался и был приведен милиционером в школу.

— Как?! — выкрикнула Раиса Ивановна и даже привстала.

— Да... весьма прискорбно. Сережу недавно привел в учительскую милиционер... Ваш сын затеял возле школы кровавое побоище. — И без того круглые глаза Таисии Самсоновны округлились еще больше. — ...И потом упорно отказывался объяснить, с кем и из-за чего дрался.

Раиса Ивановна обессиленно опустилась на стул.

Худой, сутуловатый мужчина, сидевший за партой прямо против классной руководительницы, повернул к Кирсановым негодующее лицо.

Глаза у мужчины маленькие, а черные брови огромны, и кажется, что именно они «съели глаза».

— Плохо, что вы об этом узнаете только здесь, — произнес он осуждающе и, уже обращаясь к Таисии Самсоновне, добавил: — За дра-

ки из школы гнать надо! Бандитов растим! Проходу от них нет хорошим ребятам...

Озабоченно поглядела на Раису Ивановну мать Вари, с сочувствием и недоумением — отец Платоши.

— Но позвольте, — возразил Виталий Андреевич, — почему же нас не известили сразу?

— Я вам звонила и не дозвонилась, — сказала Таисия Самсоновна.

Виталий Андреевич, сжав руку жены, тихо попросил:

— Успокойся, во всем надо разобраться.

А дело было так. С неделю назад вышел Сережа под вечер из школы, когда почти все разошлись, — мастерил в физическом кабинете динамик.

Сережа был еще в темном туннеле ворот, когда увидел, что у обочины, подпирая плечом дерево и засунув руки в карманы брюк, стоит его давний недруг — Ромка из девятого «В». Ромка весь желтый — волосы, куртка, туфли, даже... глаза. В них только темные крапинки злобы.

В школе Ромку не любили многие. Был он коварен, драчлив, труслив, в общем, как правильно сказал Венька, «нерукоподаваем».

Над теми, кто послабее, он издевался как мог: отнимал деньги, завтраки, пинал ногой.

Если же нарывался на более сильного, начинал гундосить:

— Ну че ты, че?.. Я че тебе сделал?..

В одну из таких минут одноклассник Ромки Ваган Сааков крикнул ему:

— Прекрати гунд!

И с тех пор в школе Ромку называли не иначе, как Гунд.

Сейчас Гунд явно поджидал Сережу свести счеты: тот недавно заступился за жертву Ромки.

Сереже можно было, конечно, нырнуть обратно в темный проем школьных ворот и переждать, но это было бы трусостью. Отец же не раз говорил ему: опасности следует идти навстречу. И Сережа шагнул на тротуар. Гунд встрепенулся:

— Эй, Лепиха! Удираешь, как куцый заяц?

Сережа остановился, спросил спокойно:

— А кого мне бояться?

Гунд подошел близко, продолжая держать руки в карманах брюк, растянув губы в деланной улыбке:

— Некого?

И вдруг рывком, словно выдирая правый карман, выпростал из него кулак, ударил Сережу в нос так, что сразу брызнула кровь.

Сережа не крикнул, не стал вытирать кровь, только почувствовал, как волна гнева захлестывает его, а в такие минуты он один мог пойти на десятерых.

В классе знали, что Сережа не терпел оскорблений и, вообще-то обладая характером покладистым, становился просто невменяемым, если на него поднимали руку.

Мгновенно, вспышкой, возник в памяти прием: Сережа наступил на ногу Гунда, ударил головой ниже ключицы...

И Гунд уже корчился на земле.

Но тут раздался свисток милиционера, спешившего через дорогу. Гунд успел вскочить на ноги и юркнуть в темный туннель школьного

двора. Там он, конечно, перемахнет через забор и очутится на другой улице.

Сережа не собирался бежать от милиционера, и тот положил тяжелую руку на его плечо.

— Совсем озверели? Ты чего затеял? — сурово спросил пожилой сержант, в упор рассматривая измазанное кровью лицо задержанного.

— Это наше дело... — высвобождая плечо, ответил Сережа.

— Пойдем в школу, — сердито приказал сержант. — Я тебе покажу, чье это дело.

В учительской оказался завуч Федор Федорович, с которым ребята предпочитали встречаться пореже. Он был неумолимо строг и не склонен разбираться в душевных нюансах драчунов.

Милиционер привел с улицы окровавленного ученика, который не отрицал, что с кем-то дрался и даже повалил того на землю. Фамилию поверженного он назвать отказался, а самому милиционеру грубил.

Завуч недовольно потлаживал седые волосы. Ведь однажды внушал уже этому Лепихину, что вспыльчивость его до добра не доведет. Сколько можно?

Поблагодарив сержанта, заверив его, что дело так оставлено не будет, Федор Федорович, когда дверь за стражем законности закрылась, обрушил на Лепихина град упреков:

— Школу позоришь?! Драки затеваешь? Погляди на свою физиономию! Марш под умывальник!

Если бы Федор Федорович поговорил участливо, поинтересовался, что именно произошло на улице, Сережа, возможно, все бы правдиво рассказал, не называя Гунда. Но сейчас он мол-

ча повернулся и пошел умываться, а по дороге домой решил в происшествие маму не посвящать. Зачем попусту расстраивать? Да чего доброго, мама еще тоже заподозрит, что именно он виновник драки или, что того хуже, пойдет объясняться с Гундом, его родителями, завучем. Хотя в рассказе маме можно все смягчить...

Но Сережа не признавал ложь даже «во спасение».

Он, правда, рассказал о происшествии Платоше, а через неделю начисто забыл о стычке с Гундом. Были дела поважнее: в «Звездном городке» запускали новую ракету.

— Пожалуйста, дожили до милицейского привода! Дальше идти некуда, — гневно говорила Раиса Ивановна по дороге домой.

Виталий Андреевич продолжал ее успокаивать, но и сам с обидой думал о Сереже: «Вот тебе и откровенность, правдивость. Совсем мы его не знаем и мало для него значим».

Сережа, едва открыв дверь родителям, сразу же почувствовал что-то недоброе.

Отец, не глядя на него, прошел в свою комнату, а мать сказала с негодованием:

— Докатился!

«Значит, Федор Федорович свое сделал, — с горечью подумал Сережа. — Вот не ожидал, что все так погано обернется».

— Что же ты молчал, нас обманывал?

— Неправду! — возмутился Сережа. — Я не обманывал. Не хотел вас огорчать.

— Какой чуткий! Только ты один знаешь, что правдиво, а что нет? — Раиса Ивановна с ожесточением бросила на диван свою одежду. —

Наказание мое! У других сыновья как сыновья, а этот — олух царя небесного...

— Не оскорбляй меня! — срывающимся голосом крикнул Сережа. — Я — человек.

— Человек? — все более распаляясь, грозно переспросила Раиса Ивановна. — Человек с приводом, вот ты кто! Так рождаются преступники. Вот возьму ремень да отстегаю...

Сережа побледнел, темные волоски над его верхней губой проступили яснее.

— Только попробуй!

— Ах, ты еще смеешь с матерью так разговаривать?

— Смею!

Раиса Ивановна подбежала к сыну вплотную.

Он стоял, сжав кулаки, дрожа от возбуждения. «Боже мой, глаза Станислава!» — с ужасом подумала она, когда Сергей замахнулся, не то отстраняясь, не то наступая.

В это время из соседней комнаты вышел Виталий Андреевич. Увидев искаженное лицо Сергея, руку, занесенную над матерью, он, рывком преодолев расстояние, толкнул Сергея в плечо. Сергей упал на диван, но мгновенно вскочил, раздувая ноздри:

— Не имеешь права!

— Нет имеет, я разрешаю! — глотая слезы, крикнула Раиса Ивановна.

— А я никому не разрешаю, — хриплым, словно сорванным голосом сказал Сережа.

— Тогда можешь идти жить к своему папочке!

— И пойду!

Он сдернул с вешалки пальто и выбежал из комнаты.

Холодный ноябрьский ветер подействовал успокаивающе. Сережа стал приходить в себя, медленно пошел вверх по Буденновскому.

Громыхал где-то на крыше сорванный лист железа. Зябко темнела на фронтоне цирка наездница, сдерживающая коней, впряженных в колесницу. Замерли на путях темные вагоны трамваев: видно, оборвался провод. Свирепый восточный ветер Черных земель, разбойничая, обшаривал пустынные улицы, нес колкий снег. На тротуаре огромными червями корчились стручки акации.

Сережа чувствовал себя бездомным, несправедливо обиженным щенком. Думал о матери: «Она только и знает: «Подрасти еще», «Не рассуждай», «Делай, что велят!» Будто ничтожество я, и нет у меня своей воли. Меня если попросить по-хорошему, я все сделаю. А они... рукоприкладство...»

Сережа и раньше пытался защищаться.

— Что ты все рычишь на меня? — говорил он матери. — Превращаешься в робота по напоминаниям: «Выключи лампу», «Спрячь носки»... Я сам...

— Ладно, — примирительно отвечала она. — Обещаю не быть роботом, а очеловечить тебя.

Вот и очеловечила. С четырнадцати лет отвечают перед законом. Вожди революции в моем возрасте уже участвовали в борьбе. И Маяковский... А она все считает меня ребенком. Спать в девять часов укладывает. А этот... даже...

О бабушке и говорить не приходится, она совсем за сосунка принимает: «С твоим сбором металла в оборванца превратишься. Скажи, что заболел...»

Может быть, сейчас пойти к бабушке? Нет! Не мужское решение искать убежище у бабушки. Вообще, можно будет поступить в ремесленное училище, дадут общежитие...

А если заглянуть к Платоше? Неловко как-то... Надо объяснить, что произошло...

Промелькнула мысль о Станиславе Илларионовиче. Сергей отшвырнул ее с негодованием. Чтобы он торжествовал? Вот, мол, приполз ко мне вымаливать... Видишь, как они с тобой?

Не бывать такому!

Сережа миновал железнодорожный переезд в Рабочем городке и пошел к Каменке. «В деревне запросто: нашел бы стог сена, забрался в него и переночевал».

Он шел незнакомыми улицами мимо речки, аллеи тополей, словно попал в чужой город. Наткнулся на глухую стену вроде бы какого-то амбара, обошел ее и увидел приставленную лестницу. Осторожно ступая по перекладинам, добрался до верха, подтянулся на руках и очутился в темном, теплом помещении. Чердак! Пахло мышами и слежавшейся пылью. Эх, фонарика нет. Вытянув руку вперед, Сережа сделал несколько шагов, наталкиваясь на балки и какие-то ящики. Вот его рука прикоснулась к чему-то теплomu. Печная труба! Великолетьно, обойдемся без стога. Он еще пошарил в темноте и нашел обрывки картона. «Роскошное ложе! — усмехаясь, печально подумал Сережа, укладывая этот картон возле трубы. — Имениный вечер».

Стало жаль себя. Ну почему они все с ним так поступают? В чем его вина? Где же справедливость? Бабушка, жалуясь как-то, что у

нее горько на сердце, сказала: «Если бы собака лизнула мое сердце, она бы издохла!»

Сережа тяжело вздохнул, улегся на картон, укрылся пальто.

Мстительно подумал о матери: «Небось, волнуется».

Внутренний голос обвинил: «Ну, ты тоже хорош, отвечал грубо». — «Но я никому не разрешу оскорблять меня!» — отмел укор другой голос. «И не разрешай. Однако можно было не сбегать из дому. Достаточно проучил бы, объявив голодовку».

В животе засосало, очень захотелось есть... Не надо об этом думать.

Где-то далеко хрипло залаяла собака. В чердачное окно бесстрастно заглянул месяц, похожий на краюху хлеба. Прямо дьявольски захотелось есть. Жаль, что не успел до их прихода...

...Видя, что Раиса Ивановна нервничает, Виталий Андреевич успокоительно сказал:

— Никуда не денется. Пощел к своей бабушке-спасительнице.

Раиса Ивановна действительно была очень встревожена: «Еще сдуру сбежит в другой город. Или нарвется ночью на бандитскую компанию. Все же я несдержанный человек. И, конечно, надо считаться с тем, что этому негоднику уже четырнадцать лет». Она налила себе валерьянки и выпила.

Зазвонил телефон. Кирсанов поднял трубку:

— Слушаю вас... — И, немного погодя, тихо жене: — Отец Платоши...

Чем дольше Виталий Андреевич слушал, тем сумрачнее становилось его лицо, щеки, казалось, совсем ввалились.

— Да-да... Спасибо, что позвонили... Большое спасибо...

Устало положил трубку:

— Отец Платоши, возвратясь с собрания, стал расспрашивать сына о драке Сережи, и выяснилось...

Раиса Ивановна, выслушав, что именно выяснилось, быстро оделась и пошла к своей матери.

Кирсанов, оставшись один, горестно думал: «Вот так пускают под откос сложенное с великим трудом. И остается только гневное: «Не имеешь права!» Значит, чужой, значит, отчим!..»

Раиса Ивановна вернулась скоро, совсем убитая и растерянная — у матери Сережи не было. Ночью все страхи страшнее, а боли сильнее. Раиса Ивановна стала звонить в отделение милиции, в неотложку, но отовсюду отвечали, что Сережа Лепихин к ним не поступал.

Она то давала себе клятву, что будет обращаться с ним, как со взрослым человеком, лишь бы все закончилось благополучно и он появился, то свирепела и мысленно обещала «проучить как следует, чтобы не издевался над матерью», то, набросив пальто, выбегала на улицу и долго стояла на углу, высматривая, не идет ли?

Утром, разбитые бессонницей, подавленные, они, не завтракая, ушли на работу. В кухне на столе оставили домашнюю колбасу — ее Сережа особенно любил.

В комнате Сережи Виталий Андреевич положил записку: «Сожалею, что не разобрались толком. Мама и папа».

К дверям, выходящим в коридор, они кнопками прикрепили бумажку: «Ключи — у Марии Акимовны» — и предупредили соседку, что сын, возможно, зайдет за ключами.

Глава девятая

Сережа проснулся оттого, что болела шея: он, видимо, неудобно лежал.

Сквозь чердачное окно пробивался дневной свет. Где-то внизу нутужно рычал грузовик, одолевающий подъем.

Сережа вскочил, отряхнулся, сделал разминку, энергично приседая. Покрутил головой, освобождаясь от неприятного ощущения, будто шея свернута.

Только после этого начал обследовать чердак: Ничего интересного он здесь не обнаружил: песок, зачем-то насыпанный в корзины; в углу — прохудившееся ведро, лопату без черенка, старую, рассохшуюся бочку. «Новый Диоген», — не без сарказма подумал о себе Сережа.

Он осторожно выглянул в окно. Выпал снежок, и все вокруг стало белым-бело. За углом амбара, как назвал Сережа про себя это здание, приютившее его, заворачивали машины, груженные ящиками.

Что же предпринимать дальше? Конечно, он правильно поступил, решительно отстаивая свою честь, и все же червь некоторой виновности подсасывал, не давал покоя. Конфликт можно было и не доводить до такого взрыва, а спокойно объяснить все. Однако где взять спокойствие, если тебе не верят, если с тобой обращаются, как с сопляком... Но, вероятно, нехорошо и так себя вести, как он...

Особенно мучила фраза, брошенная отцу... Конечно, он имеет право.

Сережа и сам бы мгновенно заступился за Варю, подними кто на нее руку. Но ведь он не поднимал... Это просто похоже так получилось...

...Есть хотелось все больше. Сережа порылся в карманах пальто и, к своей радости, в самом низу обнаружил провалившиеся в дырочку семь копеек. Капитал!

Он по уже знакомой лестнице спустился с чердака и, провожаемый подозрительным взглядом какой-то женщины с кошелкой, направился к троллейбусной остановке. Возле нее был хлебный магазин, и Сережа купил себе черного хлеба.

До чего же вкусным он ему показался, никогда не думал, что можно получить такое удовольствие, вгрызаясь в краюху хлеба. Захотелось даже поурчать немного.

Как-то мама, довольная его неразборчивостью в еде, сказала:

— Солдатская каша тебя не испугает...

— Как, впрочем, и солдатская жизнь, — убежденно ответил он.

— С чего бы?

— По традиции, — усмехнулся он, имея в виду отца. И вообще Сережа теперь любил, браво сказав отцу «есть!», точно все сделать, как тот велел.

Он помрачнел: «Наверно, отец не будет со мной разговаривать».

...К центру города Сережа возвращался пешком, решив все же зайти к Платоше, но на углу Красноармейской улицы встретил Варю. На ней было мохнатое зеленовато-серое пальто, такая же шапочка, в руках Варя держала черную, на длинном шнуре, папку для нот.

— Здравствуй, — обрадовалась Варя, и, как всегда, в самых уголках ее губ заиграли ямочки. — Мама вчера, когда пришла с собрания, рассказала мне о тебе, а я говорю: «Он сам не мог полезть драться, это на него напали». Правда?

Варя смотрела своими чистыми, доверчивыми глазами и показалась ему сейчас еще в миллион раз лучше прежней.

— Правда, — стесненно подтвердил он и подумал, что, если бы Варя оказалась свидетельницей вчерашней сцены у них дома, она бы его не оправдала.

Кирсановы звонили с работы на свою квартиру через каждый час.

Наконец уже в начале первого, когда Раиса Ивановна совсем обессилела от тревоги, в трубке раздался голос Сережи:

— Вас слушают...

Ах ты ж негодник — он слушает! Интонация у него точно такая, как у Виталия Андреевича, когда тот поднимает трубку. Но будто ничего и не было, Раиса Ивановна спросила:

— Сереженька, ты позавтракал?

Произошла заминка, похожая на замешательство, и раздалось тихое:

— Да...

— Мы сегодня придем, как всегда, в начале шестого.

— Хорошо.

Глава десятая

Короткие порывы мартовского ветра сметают с крыш суховатый снег. Он весело искрится в лучах негреющего солнца.

Воздух еще не весенний, но уже и не зимний. Улица Энгельса запружена народом. Люди идут кто в теплых пальто, кто в легких куртках нараспашку.

У многих в руках желтые метелки мимоз, комочки фиалок, похожие на сиреневых цыплят.

По-весеннему поет песенку прошлого века рожок керосинщика. Возле здания банка с его каменными львами затеяли возню на акациях воробьи, словно звенящие разбухшие почки.

И с Дона тянет весной: там уже посинел лед, в его пролежнях проступила вода, и не каждый смельчак решается теперь перейти на другой берег.

Сереза стянул с головы берет и сунул его в карман пальто.

В школе сегодня были легкие уроки: физика, математика, физкультура. Прошли они вполне благополучно — из пятнадцати возможных он набрал четырнадцать и сейчас возвращался домой в приподнятом настроении, представляя, как вечером будет рапортовать родителям о своих дневных победах. Он был уверен, что спросят по истории (в журнале против его фамилии стояла точка, а это значит — жди вызова), но почему-то проехало. Напрасно зубрил даты.

Школу свою Сереза любил. Она не могла идти ни в какое сравнение с теми многоэтажными дворцами, что возвели для учеников в последние годы. А все равно Сереза любил именно ее: допотопную лестницу, выложенную из какого-то древнего дуба, маленький уютный спортивный зал, канцелярию с широким окном почти на уровне пола, небольшой двор. Здесь все было домашним, обжитым. И даже Ромка больше не задира́л его, обходил стороной.

Вчера на контрольной по химии им дали задачи, и Варя — вот чудачка! — прислала ему

шпаргалку. Решила, что он не знает. А он просто замечтался, потому и сидел, ничего не писал.

...Сережа пересек мостовую и вошел в парк имени Горького. Нет, определенно пришла весна, потому что на лице Вари — он это заметил сегодня в классе — выступили веснушки.

...Сережа заворачивал на старенькую улицу Шаумяна, когда величаво проплывающая мимо светло-шоколадная «Волга» остановилась у тротуара. Из ее окошка высунулось еще более расплывшееся лицо Станислава Илларионовича.

— Привет представителю династии Лепихиных! — весело произнес он и кивнул на машину: — Вот купил... Сам из Москвы пригнал... Садись, прокачу с ветерком.

Сереже не понравились ни приветствие, ни эта похвальба, и, хотя он был совершенно свободен, а на завтра не задали почти никаких уроков, он вежливо сказал:

— Здравствуйте. Спасибо, я спешу, — этим обращением на «вы» сразу и решительно отгораживаясь от Лепихина-старшего, как от чужого и не интересного ему человека.

Станислав Илларионович вышел из машины. Пыжиковая шапка, короткое пальто, туфли на рубчатой подошве. Холеный, представительный, на фоне новенькой машины... Таких изображают на страницах заморских журналов мод.

— Как живешь, Станиславович?

Разглядывал с любопытством и удивлением, потому что ни разу не встречал Сергея после давней неприятной беседы. «Куда-то, видите ли, торопится, на «вы» величает... Птица! Но, черт возьми, абсолютно моя копия в этом же щенячьем возрасте».

У него сохранилась фотография тех лет: рядом с матерью стоит мальчишка с удлинённым не улыбающимся лицом, серьёзным взглядом серых глаз, аккуратным зачесом волос набок.

— Хорошо живу, — все так же сдержанно ответил Сережа.

— Между прочим, у тебя появился брат, зашел бы познакомиться...

— Думаю, что это ни к чему, — все так же вежливо, но еще отчужденнее ответил Сережа.

Станислав Илларионович недобро сузил глаза:

— Вот как! Но все же ты — мой сын.

— Почему? — посмотрел ему прямо в глаза Сережа и вдруг до мельчайших подробностей вспомнил тот страшный разговор, что все выжег из его сердца.

Именно тогда, когда он услышал: «Я бы всеми фибрами души, но, понимаешь, твое появление в доме сейчас, даже ненадолго, очень нежелательно, невозможно», — ему стало ясно, что отца у него нет. Не было и нет.

Станислав Илларионович молчал.

— Все же, как ни крути, а ты — Станиславович, — наконец произнес он. — От этого никуда не денешься.

Сережа усмехнулся, и Станислав Илларионович опять, но на этот раз с острой неприязнью подумал: «Взрослый человек. Это определенно Райка его, паршивца, так настроила».

— У меня есть настоящий отец, я буду носить его фамилию.

Лицо Станислава Илларионовича перекопилось:

— Ни за что не дам согласия! Небось, мамочка надоумила?

— Я теперь никогда не назову вас отцом... потому что это будет предательством, — твердо сказал Сережа.

«А-а-а, печется о том... Каков звереныш! Совершенно чужой человек», — с негодованием подумал Станислав Илларионович и, не прощаясь, сел в машину, рванул с места.

Уже проехав несколько кварталов, решил: «Черт с тобой! Называйся как хочешь».

Перед сном Сережа зашел в комнату Виталия Андреевича.

Отец лежа читал газету. Сережа присел на край дивана.

— Скажи, мне можно будет принять твою фамилию? — спросил он прямо, потому что не признавал обходных маневров.

Кирсанов, отложив газету, озадаченно сказал:

— Это, кажется, довольно сложно. Должен дать свое разрешение Станислав Илларионович.

— Он даст, — тоном, в котором невольно проскользнуло пренебрежение, заверил Сережа. — А ты согласен?

Виталий Андреевич посмотрел укоризненно: «Ты еще в этом сомневаешься?» Вслух же сказал, прищурив смеющиеся глаза:

— Если мы не рассоримся.

Сережа принял шутку, скупо улыбнулся.

— Не беспокойся, не рассоримся... Надо кончать с этим двоепашием.

Появилась мама. Голова ее, как чалмой, обвязана мохнатым полотенцем: наверно, мыла волосы.

— О чем шушукается фирма «Кирсанов и сын»? — весело поинтересовалась она.

Сереза глазами подал знак отцу — мол, пока что не будем открывать секрет, беспечным голосом сказал:

— Фирма продумывает пути своего дальнейшего развития...

Глава одиннадцатая

Школу-«голубятенку» отдали под какое-то учреждение, и Сереза с Варей пошли посмотреть новую, только что достроенную: через месяц им предстояло учиться там в восьмом классе.

Они миновали «бабушкин» район.

Сереза любил его, как любим мы почти все, связанное с самым ранним детством.

Но и этот район застроился высотными зданиями, стал неузнаваем. С полукруглой площадки на круче всматривался в горизонт мореход Седов. Его глаза, казалось, вбирали Задонье, нарядную ленту набережной; гранитное лицо оведали ветры Цимлянского и Азовского морей.

Сереза и Варя спустились к берегу.

Дон катил к гирлам сытые, упругие волны. Меж оранжевых буйков проплывали щепы, арбузные корки...

Суетились косяки рыбешек у причалов с обгрызенными бревнами.

Начало августа в Ростове обычно жаркое, но сегодня выдалось на редкость приятное утро: со стороны Зеленого острова дул свежий ветер, по выцветшему небу бродили легкие тучи, похожие на растаявшие самолетные росписи.

...Четырехэтажное здание новой школы с огромными сияющими окнами стояло у Дона на-

против речного вокзала и поражало белизной стен, косым козырьком-навесом у входа.

Осмотрев школу со всех сторон, Сережа и Варя подошли к своему излюбленному месту у чугунной ограды набережной. Вдали и правее гостеприимно приподнял ворота железнодорожный мост, пропуская черноморский величественный теплоход. Ему навстречу мчался стремительный катерок.

— Все-таки Дон широкий! — сказала Варя, провожая катерок синими распахнутыми глазами.

— Подумаешь... широкий! Переплыть — раз плюнуть. — Растопыренной пятерней Сережа зачесал вверх короткие выгоревшие волосы.

— Не люблю хвастунишек, — продолжая внимательно смотреть на катерок, идущий наперерез волне, сказала Варя и погладила загорелой, в золотом пушке, рукой бетонную тумбу ограды.

— А я и не хвастаюсь! — оскорбленно воскликнул Сережа. — Просто пустяк переплыть...

— Какой бесстрашный! — все еще иронически, но вовсе не желая обидеть, улыбнулась Варя, никак не ожидая, что за этим последует.

Сережа мгновенно сбросил с себя рубаху, изрядно измятые брюки, сандалеты в царапинах от острых камней. Оставшись в одних трусах, перелез через чугунную ограду и, сложив руки над головой, ринулся вниз, в воду. Поплыл саженками, быстро и сильно взмахивая руками, свирепо разбрызгивая воду.

Ему казалось, что он достиг середины реки, а на самом деле до нее было еще далеко.

Ну и широк же Дон! Но отступать поздно, и Сережа продолжал упрямо рассекать руками воду, чувствуя все большую усталость.

Промчавшаяся на Таганрог «ракета» подняла высокие волны. Одна из них накрыла Сережу с головой, потянула вниз. Он лихорадочно все же вынырнул, но тут силы вовсе оставили его, и Сережа начал судорожно ловить ртом воздух.

«Все! Тону!» — подумал он с отчаянием и, страшным усилием воли заставив себя всплыть, последний раз глотнул воздух.

Перед глазами промелькнуло мамино заплаканное лицо, голос Виталия Андреевича потребовал: «Держись, держись!» Но тело, став свинцовым, уходило все глубже, и только неуместная мысль еще соединяла Сережу с тем, что оставалось наверху: «Вот Варя напугается».

Перестав даже барахтаться, покорившись неизбежному, Сережа словно сквозь сон почувствовал, как чья-то сильная рука настойчиво начала подталкивать его снизу вверх.

Лишь на берегу он пришел в себя. Приоткрыв глаза, увидел, что лежит лицом к небу возле чугунной тумбы. Тело его судорожно сжималось и разжималось, изо рта, ушей, носа извергалась вода.

Какой-то парень в тельняшке — Лепихин так и не успел его запомнить — сделал еще несколько взмахов Сережиными руками, поднимаясь с колена, сказал:

— Добре пацан наглотался! — И ушел.

Толпа, собравшаяся вокруг «утопленника», растаяла, и только встревоженная, растерянная Варя склонилась над ним.

— Сереженька, тебе плохо? — виновато и жалобно спросила она.

Сережа поднялся с каменной плиты. Его еще подташнивало.

— Пойду домой, — непослушным, заплетающимся языком сказал он.

— Я тебя провожу, — предложила Варя.

Ее поразили зеленовато-синий цвет лица Сережи. Волосы его, казалось, поредели, глаза ввалились.

— Нет, не надо. Я сам...

Варя поняла: Сереже стыдно и неприятно, что она видела его таким беспомощным.

— Ну хорошо, хорошо, иди! — торопливо, пожалуй, слишком торопливо сказала она.

Еще постояла у ограды, глядя вслед.

Погода вдруг резко изменилась: горячий ветер с Черных земель погнал клубы пыли, завихрил воронками по набережной, принес запах выжженной степи. Дон сразу поблек, словно пропитался пылью. Она заскрипела на зубах Вари, придавала сероватый оттенок ее загару, золотистым волосам.

«Ну что за дурачок! Прыгнул, чтобы доказать взрослость...» — подумала она и медленно пошла домой, коря себя за то, что не удержала Сережу от безрассудного поступка.

То и дело останавливаясь и отдыхая, Сережа преодолел крутой подъем и наконец добрался домой.

Раиса Ивановна, увидя его осунувшееся лицо, встревожилась:

— Ты что? Заболел?

— Пустяки. Голова немного болит, — вяло ответил Сережа.

Раиса Ивановна дала ему таблетку, уложила на диван, и Сережа сразу уснул. Мать с тревогой поглядывала на него. Что бы это могло быть? Явно от недоедания. Он может сутками

не есть. Ему просто лень жевать, тратить время на подобную ерунду.

Правда, Виталий Андреевич успокаивал ее: «Еще ни одно юное существо добровольно не умирало от голода. Захочет — сам возьмет».

За последние месяцы Сережа очень вырос. Теперь, когда он стоял рядом с ней, то поглядывал сверху вниз. Наливающиеся силой руки нелепо высывались из рукавов пиджака. Брюки очень быстро делались короткими, и Раиса Ивановна с отчаянием говорила, что на этого верзилу не напасешься ни одежды, ни обуви.

Давно ли Сережа спрашивал у бабушки: «На какой праздник надо красить яйца и говорить: «Христос воскресник» — «Воинственный воскресник»? А теперь у него появились новые повадки: запирается в своей комнате; по утрам в ванной долго и с любопытством разглядывает лицо перед зеркалом, старательно выдавливая прыщи на носу. На щеках у него пушок, скорее, даже какие-то спиральки волос; в уголках губ усики. Он все чаще прицеливается к бритве Виталия Андреевича, но еще не решается взять ее. Жесткой щеткой старательно пытается зачесать волосы вверх — они упорно не поддаются, и Сережа ожесточенно смачивает волосы, надеясь смирить их хотя бы так.

В книжном шкафу Сережи Майн Рида вытеснили «Овод» и любимейшая книга — «Брестская крепость».

Мальчишка напускал на себя нарочитую грубость, восставал против «целований». Это было так странно в недавно ласковом теленке, любившем тыкаться носом в мамино плечо.

Легче, чем когда бы то ни было, он раздражался, ему все время хотелось не соглашаться,

защищаться от «покушения на самостоятельность».

Но вместе с тем он мог сказать, глядя на статую: «Ну зачем эти ничкемные безделушки?»

Возражать матери: «Напрасно ты заявляешь так безалапационно».

Таблетки, которые Раиса Ивановна пробовала принимать, чтобы похудеть, называть «худощавыми».

Разобрав какой-то шахматный этюд, он вдруг поднимал у себя за дверью щенячий визг; подсчитывал просто так, из любопытства, «доллары» в материнской шкатулке и придавал самые причудливые позы проволочному повару на торшере.

Когда Раиса Ивановна недавно купила сыну нейлоновую рубашку, он возмутился:

— Однако зачем она мне?

— Пусть полежит до выпускного вечера.

Сережа безразлично пожал плечами.

Он младенчески не умел управлять своим голосом: то басил на всю квартиру, то неожиданно тонко смеялся, то вдруг уморительно пытался спеть «Любимый город» и спрашивал у матери:

— Интересно, не бас ли у меня будет?

Молодая соседка-студентка, встретив его в коридоре, удивилась:

— Сережа, как ты вырос!

Он небрежно сказал:

— Между прочим, у меня и голос ломается.

Смутно, сквозь сон, Сережа слышал, как пришел отец. Они обедали с мамой и вели свой обычный «архитектурный» разговор. До Сережи

долетали обрывки фраз, словно укутанных ватой:

— Повернуть Ростов лицом к Дону...

— Центральный парк — на Зеленом острове...

— Впечатление должно быть такое, будто город «привстал»...

— Но проблема транспорта. Ты об этом подумал?

— Трамваи убрать под землю...

— А бульвары на берегах Темерника?

Сережа не мог бы объяснить почему, но ему всегда приятны подобные разговоры в их доме. И сейчас так хорошо было лежать на диване, под уютным материнским халатом и, слушая спор, думать о своем: «Интересно бы учиться в новом здании университета».

Он уже ездил с Платошей на Западный, просто так, на разведку. И словно попал в фантастический город из алюминия, стекла... У корпуса физического факультета таинственные окна-прорези, цветные плоскости... Вот бы пробраться внутрь, в какую-нибудь чертежную комнату.

К дивану подошел Виталий Андреевич, подсел. Сережа приоткрыл глаза, тихо признался:

— Маме не говори, я сегодня тонул...

Глава двенадцатая

Улыбчивая, немолодая преподавательница литературы Надежда Федоровна, обведя глазами класс, спросила:

— Как вы полагаете: за что Чацкий любил Софью

Надежда Федоровна поглядывала выжидающе. За лето ее питомцы очень повзрослели. Дев-

чонки, прежде равнодушные к одежде, видно, стали теперь придавать ей немалое значение.

На голове у Антоши Хапона появилась буйная шевелюра. Хапон — изрядный позер, склонен разыгрывать из себя непонятого поэта-гения. Иногда мрачно ходит в одиночестве по коридорам или сидит за партой, уткнув лицо в ладони, презирая всех непоэтов и ожидая вопроса: «Сочиняешь?»

Антоша любит произносить громко, с напускным театральным пафосом:

— Какое невежество!

Или:

— Какая наглость!

Наигранно смеяться:

— Ха-ха-ха!

Модулируя баском, обращаться покровительственно:

— Мой дорогой!

А рядом с Сережей Лепихиным сидит новичок — Бакалдин. Он появился в классе совсем недавно.

— Так за что же Чацкий любил Софью? — повторила вопрос Надежда Федоровна.

Сережа задумчиво смотрит в окно. Стекло сечет осенний нудный дождь. Вдали, за Доном, никнет поредевшая роща, грустит кафе «Левада».

Сережа недоуменно хмурится. И, правда, за что любить эту противную, достойную презрения Софью?

Руку поднимает Бакалдин.

Сережа покосился на соседа. Странное у него имя — Ремир.

В первые дни Бакалдин показался Лепихину уродцем: большие, похожие на раковины радио-

локатора, уши, все лицо покрыто крупными конопushками, забравшимися даже на губы.

Но позже этот Ремир стал даже нравиться Сереже: худенький, но подтянутый; простой темно-серый костюм сидит на нем очень ладно.

— Я думаю, — начал свое выступление Бакалдин, — любят не за что-то, а просто за то, что есть этот человек на свете...

Хапон громко произнес из угла класса:

— Ор-ри-гинально!

Надежда Федоровна внимательно посмотрела на Ремира:

— Наверно, это правда. Но ведь любят и за что-то!

«Конечно», — мысленно согласился Сережа и почему-то вспомнил, как после случая на Дону Варя сказала ему: «Ты все же ребенок!» И сердито подумал: «Взрослая какая!»

На перемене Сережа подошел к Ремиру. Тот стоял у окна и жевал бутерброд.

— Ты почему к нам-в школу так опоздал? — поинтересовался Лепихин.

Ремир отломил половину бутерброда:

— Хочешь?

— Нет, спасибо...

— Мои родители — цирковые артисты, вечно разъезжают и меня за собой таскают.

Вот оно что!

— Гимнасты? — спросил Сережа.

— Иллюзионисты... Манипуляторы...

— О-о-о! А почему у тебя такое имя?

— Революция и мир, — кратко объяснил новый знакомый.

Звонок прервал их разговор, предстоял урок математики.

— Начинаются мои муки, — вздохнул Ремир.

— Какие?

— Я гуманитарий, в науках точных — ноль...

— Ничего, я тебе помогу, — подбодрил Лепихин.

После уроков вместе вышли из школы. На улице слякоть, неуютно. Они подошли к Дону. Правее моста, на приколе, стояло учебное судно «Альфа» мореходного училища. Казалось, осень сняла не только листья с деревьев, но и паруса трехмачтовой «Альфы», и она сейчас зябла на холодном ветру.

— А как учатся на фокусников?

Эта мысль не оставляла Сережу на всех уроках. Ремир усмехнулся, плотнее натянул кожаную шапку с козырьком.

— По наследству передается. Ты знаешь, два месяца назад в Париже был международный конгресс «магов и колдунов». Папа ездил!

— Да ну?! Вот здорово!

— Пятьсот человек собралось. Заседали тайно, за закрытой дверью. Новую технику обсуждали. Папе присудили «премию Оскара». А в Лондоне еженедельник волшебников выходит — «Абракадабра». Папа рассказывал: когда во Франции принимают в «Национальный профсоюз иллюзионистов», очень строго экзаменуют и берут клятву не разглашать тайны профессии.

— Ух ты! — с восхищением поглядел Сережа. — А ты секреты знаешь?

Ремир улыбнулся загадочно:

— Кое-что знаю. Есть даже такая книга — «Благороднейшие секреты и некоторые примеры ловкости рук». Ее написал в Милане почти четыреста лет назад Горацио Наполитано.

— И у твоего отца она есть? — впился глазами в лицо Ремира Сережа.

Фантазия его бешено заработала: «Вот бы изучить итальянский язык и научиться всем этим фокусам».

— Ну что ты! Единственный экземпляр книги хранится в Британском музее.

— А ты откуда сейчас к нам приехал?

— Из Казани.

— Повидал ты свет!.. — с завистью сказал Сережа.

— Повидал, — подтвердил Ремир. — Я люблю цирк. Папа пишет о нем книгу. Хочешь, кусочек на память прочитаю?

— Конечно!

Ремир поставил портфель на носки своих туфель и, мечтательно глядя поверх головы Лепихина, тихо начал:

— «Вы заметили, какими хорошими становятся лица у людей, когда они сидят в цирке? Восторженно блестят глаза у малышей, лица взрослых светлеют, в них появляется что-то веселое, озорное, та непосредственность, что стирает замкнутость, важность, годами приобретенную озабоченность... Любовь к цирку приходит в детстве, когда мы попадаем в мир сказки, чудес, где все неожиданно и возможно. Нашу душу покоряют красочность костюмов, яркость света, мы восхищаемся красотой и ловкостью тренированного тела, артистичностью и навсегда сохраняем эту свою привязанность...

При последних словах Ремир резким движением ноги подбросил портфель выше головы, ловко поймал его и почтительно поклонился.

— А ты кем думаешь быть? — спросил Сережа.

Он ожидал, что Бакалдин сейчас признается: «Тоже фокусником». Но Ремір молчал. Ему, видно, не хотелось раскрывать свои планы перед малознакомым человеком.

Сережа уловил это.

— Да нет, не говори, если не хочется! — сказал он.

— Ну почему же... Папа любит цитировать англичанина Джакобса: «Матрос может стать проповедником, пастух — министром, но циркач остается циркачом». Не думаю, чтобы существовала такая обреченность.. Я, например, буду философом-социологом, — тихо признался он.

Лепихин посмотрел недоуменно.

— Изучать явления и делать выводы, прогнозы... Синоптик, но только для общества... Как лучше жить...

— Интересно, — почтительно пробормотал Сережа, про себя удивляясь, каких только профессий нет на свете.

Глава тринадцатая

Раиса Ивановна встретила сына строгим вопросом:

— Где ты пропадал?

— Предположим, в школе, учился танцевать, — лихо сбросив с себя синюю куртку, подбитую мехом, ответил Сережа.

— Ну и как?

— Простое дело! Чем больше трясешься, тем лучше.

— Что же это за танец?

— Твист.

Хотел добавить: «Довольно гнусное заня-

тие», но, прочитав на лице матери осуждение, передумал. Незачем идти на поводу у взрослых.

Сережа вошел в свою комнату, поставил портфель у стола, возвратился к матери:

— Три приятности и одна неприятность.

— Начни с последней.

— Трояк с минусом по немецкому. — И торопливо: — А литературка поставила пятерку.

— Что еще за «литературка»?

— Практику у нас проходит... из пединститута... Молоденькая студентка. Дрожит—так нас боится! Ремиру сказала: «Мне приятно было бы поговорить отдельно с таким развитым мальчиком». Ма! После этой пятерки ты меня уважаешь?

Райса Ивановна улыбнулась:

— Пожалуй...

Действительно, первая пятерка в этом году по литературе.

— Важно, чтобы ты сам не терял к себе уважения.

— Не беспокойся, не потеряю. Пятерку по физике получил. Все-таки неприятности чаще бывают случайными, чем приятности.

— Ну, а последняя приятность какая? — спросила Райса Ивановна.

— Через час придет Ремир Никанорович.

Это он так величает своего нового друга. Райса Ивановна оделась:

— Я скоро вернусь, вы себя ведите здесь поспокойнее.

Она имела основание говорить так. Когда приходил Ремир, мальчишки начинали со степенных бесед, но потом буйствовали. Два дня назад Райса Ивановна из кухни услышала, как на пол свалилось что-то тяжелое, вбежала в ком-

нату и увидела: Ремир лежит на полу, на спине, а Сережа заносит над ним костяной нож для разрезания бумаги.

— Что вы делаете? — закричала она.

Мальчишки смущенно поднялись с пола.

— Понимаешь, маминушка, мы практически проверяем одну сцену, чтобы правильно ее описать.

Еще раньше Райса Ивановна слышала, как они договаривались написать совместно роман о... «летающих тарелках».

— Ты веришь в пришельцев из других систем? — спрашивал Ремир Сережу.

— Верю!

— А я сомневаюсь...

— Давай напишем роман о посланцах неземных цивилизаций! — предложил Сережа. — Я беру на себя технику, а ты — литературно-художественное оформление.

Райса Ивановна вышла из дома. Валил густой снег. Под его спокойное кружение хорошо думалось.

«Эту дружбу надо поощрять... Ремир на год старше Сережи, всерьез мечтает написать о раскопках Саркела. Не без влияния Ремира Сережа вдруг стал увлекаться поэзией. Читает запоем и подряд — Беранже, Фета, Луговского... Вчера сказал: «Каким я был глупым, что раньше не понимал поэзии».

Как бы и сам не пытался писать стихи. Она обнаружила на одной из обложек тетради две строчки: «Мир шире, чем его я представлял, и много интереснее, чем знал».

А Сережа вовлекает друга в «рукотворство», как он говорит. Сережа любит починить утюг, запаять кастрюлю, особенно же «механизировать

быт». Он, например, смонтировал на кухне пульт с кнопками.. Одна из них выдвигает полку для сушки посуды.

Ремир охотно ходил в подмастерьях.

...Сережа, наскоро пообедав, стал ждать Ремира. Не читалось, не сиделось. Он подходил к окну, прислушивался, не хлопнет ли дверца лифта.

Сережа был довольно общительным человеком. У него и сейчас сохранились хорошие отношения с Платошей, Венькой, с ребятами из «Звездного городка». Ремир стал его другом сокровенным. Он мог ему все сказать, во всем признаться, бесконечно верил ему. Все же, вероятно, необходима именно мужская дружба. Варя Варей, но здесь совсем другое дело...

И ведь правду говорят люди, что противоположности сходятся. Сам он изрядно вспыльчивый — «в маму», а Ремир сдержанный; он неусидчивый, а Ремир уж если надо... Сколько он сидит над алгеброй! Хотя все же она ему по-прежнему трудно дается. Нет какой-то математической извилилки.

Сережа был в цирке, видел, как работает отец Ремира на арене — блеск! А потом впервые в жизни Сережа оказался за кулисами, в мире, откуда выпархивали чудеса.

Здесь приятно пахло конюшнями, жженой бумагой, мокрыми опилками, клеем. Блестели зеркала и какие-то фантастические аппараты.

За дверью с надписью «Инспектор сцены» — таинственный пульт освещения, микрофоны...

Молодые парни в синей униформе протаскивали стенд для стрельбы, наборы пистолетов,

цветные шары на подвижном круге. Гибкая женщина в зеленом с блестками трико вбежала с арены и, схватив полотенце, блаженно стерла пот со лба.

Виднелся круп белой лошади в конюшне, доносился дробный перебор копыт. Вдалеке, словно бы в другом здании, рыкнул лев; над ухом неожиданно кукарекнул петух; клоун снял с головы парик, с носа наклейку и стал обыкновенным человеком.

Ремир ввел Сережу в гримуборную родителей и сказал просто:

— Мой товарищ.

Бакалдин-старший медлителен, малоразговорчив. Глаза умные, как у Ремира. Мама тоненькая, на мальчишку похожа. И подстрижена так.

Встретили они Сережу приветливо, расспрашивали о школе.

Отец Ремира показал Сереже крохотного робота, безошибочно достающего из колоды загаданную карту.

В ответ на недоуменные взгляды Сережи кратко пояснил:

— Радиоэлектронная и магнитная аппаратура.

С немного ироничной улыбкой, с каким-то особенным артистическим изяществом достал из лимона монету, покатыл ее по столу и вдруг приказал: «Стоп!» Монета мгновенно «прилипла» к столу. Чародей сжал в кулаке резиновую перчатку, потом, расправив ее, стал выцеживать в стакан молоко... из всех пальцев перчатки.

Но совсем огорошил он Сережу последним фокусом: раскрыл веер, бросил на него скомканную бумажку, начал подбрасывать ее, пока она

не превратилась в яйцо, а из него вылупился цыпленок. Фантастика! Такое просто невозможно было переварить в один присест. И в этом необыкновенном мире постоянно жил Рем, вероятно, ко всему привык, как к повседневному.

...Нет, Сережа вовсе не идеализирует друга. Рем, например, где бы и надо разозлиться — не умеет.

В классе первое время сторонился ребят. Правда, признался почему: «Меня в Костроме вечером окружили семеро... много старше... Я сопротивлялся... Они повалили на землю и топтали просто так. С тех пор я иногда думаю: может быть, плохих людей на свете больше, чем хороших?»

Но ведь думать так неверно, даже если и столкнүлся с негодями. Сережа сказал ему об этом и добавил:

— Хотя мое мнение, вероятно, для тебя неважно.

Но Рем ответил серьезно:

— Нет, очень важно.

На днях они поссорились и несколько часов не разговаривали.

Все ребята класса ушли с урока черчения в знак протеста против больших заданий. А Рем мир остался сидеть в классе. Один. Сережа запальчиво крикнул: «Это штрейкбрехерство!» Бакалдин спокойно ответил: «Нет — самостоятельность». Сережа наговорил, как он сейчас понимает, много ненужного. Рем же только сказал: «Грубость и вспыльчивость еще не доказывают правоту». Но скоро они помирились.

Позже, когда на общешкольном открытом комсомольском собрании поступок класса был

строго осужден, Сережа подумал: «Все же Ремир принципиальнее меня».

С Ремиром всегда интересно: можно поспорить о том, какая разница между великим и знаменитым человеком, о том, кто выше как музыкант — Бетховен или Моцарт. И особенно доверительно поговорить о жизни.

Отец считает, и Сережа полностью с ним согласен, что жадность, расчетливость — отвратительные пороки. Дарить имениннику, например, надо то, с чем тебе особенно трудно расстаться. Потому Сережа и подарил в день рождения Рему свою любимую готовальню.

А Рем говорит, что расчетливость может быть и разумной, полезной.

Деликатно зазвонил звонок. Сережа побежал открывать дверь. Ремир, покрасневшийся, необычайно оживленный, с порога сообщил:

— Я только что вычитал, что Чехов не ладил с математикой...

Сережа придал лицу серьезное выражение, голосом Хапона назидательно, с апломбом сказал:

— Какая прелэсть! Ты знаешь — это подбадривает!

Они расхохотались. Сережа смеялся до тех пор, пока не стал икать. Потом, усевшись на диван, повели свой обычный разговор, то и дело перескакивая с темы на тему, торопясь высказаться. Даже не услышали, когда возвратилась Раиса Ивановна, потому что, как тетерева, глохли во время споров. Перебивая друг друга, вскакивали, бегали по комнате, останавливались. Доносились обрывки фраз:

— Элементы материализма...

— Во Франции бастуют десять миллионов...

— На пороге ренегатства...

— Пушкин о любовных похождениях архимандрита Фотия...

«О боги, что за окрошка!» — подивилась Раиса Ивановна.

Потом в наступившей тишине раздался голос Ремира.

— Тебе Варя, как девушка, нравится? — спросил он.

— Конечно, — сразу же ответил Сережа. — А почему ты спрашиваешь?

— Да, просто так... — уклончиво ответил Ремир.

— В женщине очень важна верность, — принципиально заметил Сережа.

— А в мужчине? — насмешливо спросил Ремир.

Сережа смутился:

— Допустим. Ты знаешь, когда Передереев начинает пакостно говорить о девочках, я готов ударить его по слюнявым губам.

— Да, циников я тоже не люблю. Папа говорит: «Женщина — лучшее творение природы, ее надо оберегать от хамов». Я думаю, что даже у Передереева цинизм напускной. А тайно он мечтает о чистоте.

— Сомневаюсь. Питекантроп двадцатого века. Ты представляешь, вчера заявил: «Кому нужна философия?»

— Ну, мне пора, — сказал Ремир, — я обещал возвратиться скоро.

— Я тебя провожу.

Они быстро оделись.

— Шарф надень! — крикнула вдогонку Раиса Ивановна.

Сын отмахнулся, шарф не надел. Ей не захо-

Телось сейчас начинать очередную баталию. Достаточно было их за последнее время.

Уже из коридора донесся голос Ремира:

— Еще Белинский утверждал...

Пара гнедых. Надо же было, чтобы они нашли друг друга.

Глава четырнадцатая

Виталий Андреевич, сидя дома за столом, просматривал чертежи.

Как это сюда попало? На двойном листе, вырванном из ученической тетради, почерком Сережи было написано: «Дорогая мам! Чтобы доказать тебе и бабушке свою полную самостоятельность, я решил сварить из свежей капусты щи».

А-а-а, это прошлогоднее письмо Сережи.

Далее шло описание закупок продуктов, подводился итог расходам, «не считая четырех копеек за стакан газированной воды с вишневым сиропом (накладные расходы)»; излагался способ приготовления: «Все вышеупомянутые овощи, тщательно вымытые теплой водой, опущены в крепко наваристый бульон в последовательности, установленной поваренной книгой. Оставшиеся растительно-овощные продукты заскладированы в домашнем овощехранилище.

Шеф-повар Сергей Кирсанов».

Виталий Андреевич еще раз посмотрел на подпись и помрачнел. С изменением фамилии Сергея все невероятно осложнилось. Рая писала Станиславу Илларионовичу, но тот, видно, из желания потрепать ей нервы, не дал своего согласия на усыновление. «Что за нелепость: взрос-

лый парень, которому уже шестнадцатый год, не вправе сам решать вопрос о своей фамилии. В конечном счете, дело не в этом; но ведь обидно... Интересно, как идут у него дела в школе?»

Виталий Андреевич позвонил завучу Федору Федоровичу, спросил, застанет ли его и классную руководительницу Таисию Самсоновну, если заглянет через час.

— Хорошо, что позвонили. Я как раз собирался вызвать вас. Ваше чадо опять отличилось. Приходите.

«Напросился, черт возьми! Что у него там? Неужто возвратился на круги своя?»

...Денек был на славу. Зима надела белые шлемы на кабины телефонов-автоматов, оторочила белым чугуны пики парковой ограды. Кружилась легкая метель, запорашивала дорогу, протоптанную пешеходами через Дон, белила сутулых рыболовов у прорубленных лунок.

Но недолго вихрить восточному ветру по улицам: пригреет солнце — и сразу осядут сугробы и начнется капель, дворники счистят лопатками наледь с тротуаров, вереницы машин, приняв с транспортеров белый груз, увезут его в степь. Город, уже освобожденный от зимы, заискрится, прижмурится на солнце.

Виталий Андреевич подошел к школьному подъезду. Со стороны Ворошиловского проспекта донеслись мелодичные звуки ростовских курантов.

— Присаживайтесь, Виталий Андреевич, — поглаживая седой ежик волос, встретил Кирсанова завуч, видно затрудняясь, с чего же начать этот неприятный разговор.

В стороне сидела классная руководительница Таисия Самсоновна, куталась в теплую шаль,

и по ее доброму круглому лицу бродило смятение.

— Ну-с, докладывайте, великомученица Таисия Самсоновна.

Учительница зябко передернула плечами.

— Есть у меня в классе мальчик Передереев... — начала она.

— Этому «мальчику» — восемнадцатый год, — буркнул Федор Федорович. — По два года сидел в пятом и седьмом классах... Верзила повыше нас с вами... Кулаки — кувалды.

— И вот Передереев невзлюбил новичка Бакалдина. — Таисия Самсоновна подняла страдальческие глаза на Кирсанова. — Бакалдин с вашим Сережей дружит... На переменах Витя все приставал к Ремиру. Я даже слышала, пригрозил: «Зубы твои в горсть соберу, клоун».

— Его стиль, — заметил Федор Федорович.

— Я пристыдила Витю. На черчении Бакалдин встал стереть с доски, а Передереев положил на его сиденье четыре кнопки острием вверх. Сережа смел их. Тогда Передереев сказал: «Я и с тобой рассчитаюсь...» В перемену, только учитель вышел из класса, Передереев подошел к Сереже, сжал в кулак его рубашку у шеи. Ваш сын оттолкнул Передереева, схватил первое, что попало под руку, — деревянный макет подшипника — и запустил в него... да попал в голову очень тихого ребенка Сени Коваленко. Сене сделали перевязку и отправили домой. Он живет с бабушкой... Родителей нет... Я собрала классное собрание... Все осуждали Сережу за вспыльчивость.

Дома Виталий Андреевич застал сына за любимым занятием: он грыз поджаристые сухари,

положив ноги на батарею, и решал кроссворд. Раиса Ивановна была еще на работе.

Узнав, что отец возвратился из школы и в курсе всех событий, Сергей мрачно сказал, как когда-то:

— Но ты же сам учил защищать правых.

— Разве так, как сделал это ты? Возможно, Сеня в больнице. Тебе придется отправиться сейчас же к его бабушке и к нему...

— Не пойду...

— Нет, пойдешь. Со мной. Ты ведь не щадишь и меня... Хуже будет, если я пойду извиняться один...

Виталий Андреевич узнал в школе адрес Коваленко. Дорогой Сережа сумрачно молчал. Действительно, отвратительный у него характер. Вот пробил голову ни в чем не повинному человеку. Возможно даже, у Сени сотрясение мозга, и он на всю жизнь останется инвалидом, а его, Сергея, как виновника будут судить. И поделом... Рем тоже сказал: «Я тебе благодарен... Но крушить голову Коваленко... Это мне напомнило Кострому и тех... зверей».

Они спустились по крутой лестнице вниз, в полуподвальное помещение, и постучали в дверь, обитую войлоком.

Им открыла старенькая женщина в длинной серой кофте. Услышав, кто перед ней и зачем пришли, женщина огорченно сказала, обращаясь к Сереже:

— Что же это ты, милый? Так ведь и убить человека можно.

Сережа, потупясь, стоял у порога.

— Я не хотел...

— Сенечка, иди сюда, — позвала женщина.

Из соседней комнатухи вышел Сеня с пере-

вязанной головой. Он, видимо, чувствовал неловкость от этого визита.

— Извини, я не хотел, — сказал ему Сергей.

— Я знаю...

...По дороге Сережа зашел к бабушке, а Виталий Андреевич, придя домой, обо всем рассказал Раисе Ивановне. Она забегала по комнате:

— Ужас! Ужас! Несчастье мое! Насколько было бы спокойнее с дочерью. Никогда не знаешь, чего ждать. Изверг! Хоть бы скорей уже выучился и женился, и пусть его жена возьмет на себя заботы о таком сокровище...

Виталий Андреевич невольно рассмеялся. Вот чего он не мог представить, так это Сережу женатым мужчиной. Виталий Андреевич усадил Раису Ивановну на диван:

— Раюша! Ну что ты так? Ведь и его пойми. Парню пятнадцать лет... внутри вулканы. За год вдвое увеличилось сердце, сделалась взрослой кровь, он становится мужчиной...

— Значит, сноси чужие головы?!

— Никто об этом не говорит. Но ведь и не учитывать то, что с ним происходит, нельзя: время бурь и ломок. Надо ли добавлять еще внешние смерчи? Этот возраст, уверяю тебя, не менее сложный, чем младенческий. Понимаешь, личность рождается.

Раиса Ивановна фыркнула, но, уже успокаиваясь, примиренно сказала:

— Личность! Спустить бы этой личности штаны, да так накатать, как в старину это делали...

— Ты знаешь, — задумчиво произнес Виталий Андреевич, — я однажды это сделал, когда моему Василию было лет двенадцать. А позже

узнал: мальчишка мелом на дверях сарая написал «дату позора» и два года нет-нет да и приходил к ней, чтобы подогреть ненависть к своему тирану. Возможно, это и отдалило его от меня...

— Черт знает, как подступиться к этим деточкам, — недоуменно приподняла плечи Раиса Ивановна. — Я и сама в этом возрасте была изрядной цацей. Помню, какую непримиримую войну вела с мамой по поводу галоп. Делала вид, что иду в них в школу, оставляла дома, под лестницей, а возвращаясь, надевала, прежде чем предстать перед грозными очами...

Но все же хочется пересилить его ослиное упрямство! — опять горячась, воскликнула Раиса Ивановна. — Все подвергает сомнению.

— А может быть, Раюша, мы слишком «дрессируем» его, он сейчас болезненно-чувствителен. Вероятно, что-то надо и не замечать и, уж во всяком случае, быть с ним помягче.

— Прямо филиал института благородных девиц открыть!

Это она по инерции произнесла. У нее на днях был разговор с Сережей. «Из меня добром веревки можно вить», — сказал он, поглядев на нее взросло. «Ну а если ты упрям и не слушаешься?» — «А ты больше в меня верь, мне же скоро шестнадцать». — «Ну, положим, через полгода». — «Видно, придется тебя, маминушка, послать в родительский университет», — словно бы и добродушно сказал он, но по нижней полной губе его пробежала хитринка.

Вспомнив эту фразу, Раиса Ивановна сдвинула брови: «Нахал», но мужу пообещала:

— Попробую смирить эмоции...

...К родителям вечером пришли друзья. Сережа заперся в своей комнате, лег на диван, положил подушку на лицо. Звуки из соседней комнаты почти не доносились.

Не любил эти сборища взрослых, где его принимают за пай-мальчика.

Мысли потекли неторопливо, спокойно: «Что ждет меня в будущем? Может, я пустоцвет, говорун... Так нет же — терпеть не хочу громких фраз!.. Важно быть Человеком... Но ведь и люди очень разные... Хочется быть настоящим...

Таисия наша неплохая, но считает нас младенцами. Лучше б рассказала когда-нибудь, как больно ошибалась, как находила выход... А у нее все получается ясенько, правильно. Или вдруг начнет укорять: «У вас на уме модный плащ да свитер...» Что же, мы виноваты, что нам лучше жизнь досталась, чем была у родителей? Взрослые именно за это боролись. Разве мы сами хотим не в гору карабкаться, а прогуливаться по асфальтовой дороге?

Мама в последнее время стала чаще относиться ко мне, как ко взрослому, и мне теперь интересно с ней разговаривать.. Ее очень уважают люди. Избрали недавно депутатом горсовета. И все она о ком-то хлопочет, кому-то помогает, с кем-то воюет. Вчера сказала: «Люблю, когда некогда». Ее просто невозможно представить спящей после обеда или скучающей... Мне тоже хочется, чтобы всегда не хватало времени...»

Глава пятнадцатая

На следующий вечер, когда они вдвоем были на кухне, Сережа вдруг спросил Раису Ивановну:

— Ты в меня веришь?

Она погасила улыбку: «Опять о том же».

— Верю.

— А почему вчера сказала папе: «Из него человека не получится»?

— В раздражении и даже отчаянии. Я просила тебя сходить за маслом, а что ты ответил?

— Дочитаю книгу— пойду.

— Но мне надо было масло немедленно, а ты сказал: «Не могла раньше подумать».

— А что ты мне ответила?

— Что не дам обедать.

— Все же ты слишком часто раздражаешься.

— Надо иметь железную выдержку, чтобы с тобой не раздражаться.

— Вот и совершенствуйся, — снисходительно ответил он.

Собственно, это было хамство, новая грубость, равная совету поступить в родительский университет, но Райса Ивановна сделала вид, что не заметила ее.

До чего же Сережка стал противным! Стоило ей зайти в комнату, где он делал уроки, как мальчишка ошкетинивался:

— Не люблю, когда надо мной нависают!

Потом спросил:

— Ты читала? Доктор Бернар заменил сердце пожилого бакалейщика Вакшанского сердцем молоденькой девушки. Никому не нужный эксперимент, — заключает он категорично.

— Почему же? Это новая эра в медицине. Вполне успешно пересаживают почки. Есть хирургия запасных частей.

— Ерунда!

Райса Ивановна готова оскорбиться, но опять сдерживает себя:

— Это не метод спора. Твои реплики похожи на ругань.

— А как прикажете спорить?

— Не прикажу, а советую делать это достаточно деликатно. Есть такие выражения, как: «Не верится», «Сомневаюсь», «Думаю, что это не оправдывает себя».

— Вы вечно придираетесь!

Трудно, ох трудно сохранить с ним спокойствие.

...Виталий Андреевич возвратился с работы чем-то взвинченный. Ему предстояло сегодня же выехать в командировку в Ленинград, и он стал укладывать вещи.

Позвонила соседка Мария Акимовна. У нее большое горе, и она в последнее время часто заходит к Кирсановым.

Мария Акимовна осталась вдовой в тридцать лет, муж ее погиб на шахте. Женщина нашла в себе силы окончить техникум, воспитывала дочь и сына. Владик даже получил серебряную медаль. И вдруг...

На вечеринке у кого-то из друзей Владик выпил, может быть, впервые в жизни, пошел провожать одноклассницу и повстречался с такими же пьяными, намного старше его. Они стали отпускать скабрёзные шуточки. Владик ударил оскорбителя, тот, упав на мостовую, раскроил голову и, не приходя в сознание, скончался.

Теперь Владик в тюрьме, ждет суда.

Раиса Ивановна усадила соседку на диван:

— Были вы у судьи?

Мария Акимовна бесцветным, тихим голосом ответила:

— Была. Говорю ему: «Вы поверьте мне, ма-

тери. Владик добрый мальчик, хороший сын, и все это — роковой случай». Он говорит: «Верю. Но человек-то убит». И что я могла возразить?

Она посмотрела на Райсу Ивановну, словно бы и не видя ее.

— Вчера долго заснуть не могла... Часа в два ночи встала... Ходила вокруг стен тюрьмы... Представила, как он там, в камере с глазком, за решеткой. Наголо стриженный... И все думала, думала... Что я упустила? В чем виновата? Ведь у погибшего есть мать, жена. Почему Владик, когда поднимал руку, не вспомнил обо мне? Для того ли растила я его?

Райса Ивановна взяла руку Марии Акимовны в свою, успокаивающе стала поглаживать:

— Да вы не убивайтесь! Разберутся во всем... И мы как соседи характеристику дадим... Ведь знаем Владика давно...

— Мам, можно включить телевизор? — спросил Сережа.

Телевизор стоял здесь же, в углу.

— Можно, — рассеянно ответила Райса Ивановна, вся поглощенная горем Марии Акимовны.

На экране подрыгивали девицы в свержминюбках, очень громко играл джаз: бил барабан, звенели медные тарелки. Райса Ивановна сначала силилась преодолеть этот шум, потом попросила:

— Выключи, Сереженька, пожалуйста.

Он не торопился выполнить просьбу матери, хотя уже приподнялся, собираясь выдернуть шнур. Последнюю фразу Райсы Ивановны услышал Виталий Андреевич. Сразу же возмутился, что просьба не выполнена мгновенно и, появляясь на пороге, приказал повышенным тоном:

— Выключи телевизор!

— А нельзя ли повежливей? — густым баском огрызнулся Сергей. — И не приказывать...

— Выключи сейчас же! — не сбавляя резкости, повторил Виталий Андреевич. Осколочный шрам на его лбу, у брови, побагровел.

— Я тебя перестану уважать! — вдруг выкрикнул Сергей и ушел в свою комнату, хлопнув дверью.

— Как-нибудь проживу и без твоего уважения, — бросил Виталий Андреевич ему вслед.

Все это было нелепым, неожиданным и вдвойне неприятным в присутствии Марии Акимовны, на виду у ее горя.

— Но я, Виталий, ему сама сначала разрешила, — виновато стала объяснять Раиса Ивановна.

Соседка поднялась:

— Простите, я пойду...

— Я к вам загляну, — сказала Раиса Ивановна.

Виталий Андреевич, нервно куря, шагал к вокзалу.

«Стоит ли, — с горечью думал он, пробираясь между снежных сугробов, — тратить свои душевные силы, нервы при полной неблагодарности в ответ? Зачем взвалил я на плечи такой груз? Ради Раи? Но почему должен я поступать своей гордостью, достоинством и терпеть фокусы этого мальчишки? Подумаешь, какая загадочная персона! Он спросил на днях: «Ты хорошо разобрался в моем характере?» — «Это менее сложно, чем ты предполагаешь». — «Но более сложно, чем думаешь ты».

Остряк-самоучка. А может быть, и действительно сложно?

Надо быть слепым, чтобы не видеть: он ко мне привязан, словно невидимой нитью, остро переживает, если я перестаю с ним разговаривать, любит идти рядом, постоять за спиной, когда я сижу за рабочим столом. Ревнует к матери: «Что вы все шушукаетесь?» Солидно и уважительно произносит: «Я пошел, батя» или снисходительно: «В вопросах любви ты, батя, идеалист». А то, словно бы мимоходом, погладит руку: «Ух ты, какой ворсистый». И вместе с тем последняя сцена...

Как хочется иногда на него накричать, строго наказать. Но скручиваешь себя, потому что память подсовывает спасительные воспоминания о тех, кто был вот таким ершистым, разболтанным, а стал хорошим человеком... Но значит ли это, что надо то и дело не замечать и прощать?»

«Опять у тебя на столе беспорядок». — «Беспорядок — частный случай порядка». — «Это откуда?» — «Из меня...»

Вот так-то.

Нет, он слишком привык с детства к уговорам, а позже к тому, чтобы комментировали краткие «нет», «нельзя». И теперь ждет разъяснения каждому отказу.

— Я сейчас пойду в кино, а потом сделаю уроки...

— Нет...

— Но почему?

— Достаточно и того, что я сказал.

— Но это деспотизм.

— А у тебя демагогия.

— Что это такое?

— Прочитай в словаре.

Полистал Даля, пришел снова:

— Нет, я не демагог, потому что не тайный, а явный возмутитель.

— Но ты, наверно, не дочитал. Там написано: «Поборник безначалия».

— Не понимаю все же, почему мне, взрослому человеку, нельзя объяснить твое «нет».

— Потому что есть и просто родительский запрет. Став солдатом, ты, пожалуй, еще начнешь обсуждать каждый приказ командира, прикидывать: «А логично ли? А зачем?»

— Я не солдат, а ты не командир.

— Но родитель. Надо привыкать к безоговорочным «нет» и «нельзя».

Дернул плечом, но, кажется дошло.

...Виталий Андреевич открыл дверь в пустое купе, расположился на нижней полке.

Мысли опять возвратились к Сереже: «В какой степени следует обращать внимание на мелочи? Вероятно, надо вникать в природу поступков и не рубить с плеча. Проблемы века двадцатого не откроешь простеньким патриархальным ключом девятнадцатого века.

И, конечно, надо избегать многословия. Может быть, достаточно одной, повторяющейся, как рефрен, фразы? Он не почистил обувь — сказать с укором:

— Это характер...

Разбил тарелку, не догладил брюки, не выполнил обещания — посмотреть с сожалением:

— Это характер...

Но, вероятно, очень важно помнить и себя в таком же возрасте. Нас иногда непомерно сердит, если мы обнаруживаем в ребенке недостат-

ки, свойственные нам самим в детстве или сейчас.

Что это: желание, чтобы они стали лучше нас? Или неприязнь к своим собственным преступлениям?»

...Поезд тихо пошел... Проплыли огни вокзала.

«Вон наш дом. Что делает сейчас Сережа? Небось, переживает ссору. И Рае неприятно. Когда ушла соседка, а сын закрылся в своей комнате, она сказала с горечью: «Ведь ты советовал мне быть сдержаннее, и вдруг...»

Виталий Андреевич с нежностью подумал о Раисе: «Просто невозможно представить жизнь без нее. Когда назревал разрыв с Валею, я придумывал себе командировки... Теперь уезжаю на неделю, а на второй день хочется возвратиться... А с парнем мы сладим. Сладим!

Полюбил я его, потому и воспринимаю все остро. Однако, может быть, переживаю?

В чем же главное противоречие Сережиного характера? Бурное отстаивание самостоятельности, которой, в сущности, еще нет?»

Когда он узнал, что Сережа затеял драку в классе, то сам потребовал:

— Проучите его, дайте выговор, в конце концов, исключите на неделю... Ненаказанная грубость порождает хулиганство...

Федор Федорович вдруг вступился за Сережу:

— Он не хуже других... Редкий случай, когда отец требует наказания большего, чем дает школа.

В этой фразе Кирсанову померещился укор, мол, «не твой собственный сын».

Но это неправда.

Каждый день приносит ребусы. Недавно он достал Сергею книгу по литературе, ездил за ней к черту на кулички... Правда, не устоял перед соблазном сказать:

— Если бы я был таким деспотом, как тебе кажется, разве тратил бы часы...

Говорить такое не следовало. Мальчишка не преминул уличить его в просчете:

— Так ты это сделал специально, чтобы показать мне, какой заботливый?

С ним все время держи ухо востро, и от этого тоже устаешь.

Но чуткость душевная в нем все же есть. Подпустив шпильку, он, видно, пожалел о ней. Подошел к Виталию Андреевичу, сидящему на скамейке возле телефона, положил руку на его плечо, сказал мягко:

— У тебя все больше седых волос.

Виталий Андреевич усмехнулся:

— Они появляются не без твоего участия.

— Дай-ка я парочку выдерну.

— Оригинальный способ облысения: за день ты будешь прибавлять мне седых волос, а к вечеру выдергивать их.

Сережа рассмеялся:

— Неужели я приношу тебе только неприятности? — И строго добавил: — Ты опять много куришь!

Сережа недавно накурился до тошноты и поклялся себе, что никогда больше не будет заниматься этим «грязным делом». Виталия же Андреевича решил перевоспитывать. У него появилось еще более ясно выраженное стремление перевоспитывать родителей.

— Зачем ты отравляешь себя этой гадостью? — спросил он строго.

— Фронтальная привычка.

— Неужели у тебя не хватает силы воли?..

— Дело не в этом...

— А дурной пример мне?

— Гм... Гм... Будем рассматривать, как человеческую слабость, — неуверенно ответил Виталий Андреевич. — Особенно вредно курить в раннем возрасте, когда организм не окреп...

— Ну, ты ищешь оправдания.

— Ладно. Бросить не брошу, но подсокращусь...

Ему вспомнилось, как он в гневе крикнул Сереже: «Проживу без твоего уважения».

Виталий Андреевич нахмурился: «Как у меня повернулся язык?! Так можно действительно потерять все...»

Глава шестнадцатая

В школьном коридоре Венька Жмахов, войдя в роль мима, представлял в кругу ребят подъем штанги тяжеловесом. Он размялся, прицелился; расставив ноги, нагнулся; покраснел от натуги, мышцы его задрожали. Он выбросил вверх воображаемую штангу, едва удерживаясь на ногах и покачиваясь. Потом сбросил ее, но попал себе на ногу, ухватился руками за носок ботинка, стал уморительно прыгать на одной ноге.

Зрители в полном восторге:

— Во дает!

— Все точно!

Сережа, глядя на Веньку, тоже улыбался: «Прямо артист».

К Сереже подошла Варя — новый комсорг класса. Отозвав в сторону, тихо спросила:

— Ты все же намерен вступать в комсомол?

— Намерен.

— Почему тянешь?

Сережа замялся:

— Готовлюсь.

Действительно, со вступлением в комсомол никак не ладилось.

Еще год назад сообщил своим родителям, что берет анкету, даже заполнил ее. А потом произошли драка с Гундом, злосчастный побег из дому.

Снова собрался подать заявление, так эта нелепая, постыдная история с Коваленко.

Отец и мать считали, что Сережа не готов еще к такому серьезному шагу, говорили ему об этом.

Мама совсем недавно удивлялась:

— У тебя же проскальзывают двойки по русскому языку!

Он энергично возражал:

— Это исправимое дело... Рем Никанорович утверждает: «Важны душевные качества».

Правда, Сережа не признался маме, что Рем здорово его отчитывал за невыдержанность.

— Разве что Рем Никанорович утверждает, — иронически произнесла Раиса Ивановна. — А может быть, двойки из-за лени тоже выражают эти качества?

— Вряд ли... Между прочим, я сегодня написал обязательство.

— Какое?

— По русскому в четверти иметь твердый трояк.

— Прямо скажем: слабовато...

— Лучше перевыполнить, чем невыполнить.

— Типичная психология перестраховщика!

— Н-н-ну, — дернулся Сережа. — Поосторожнее!

...А Варя опять настаивала:

— Ну чего ты затянул?

Сережа даже вспыхнул:

— Вам известно, какое я золото?

— Комсомол перевоспитывал и не таких!

Так-то оно так, да разве Витка Передереев комсомолец? Даже Платоша, мудрейший Платоша, вечно отлынивает от общественных поручений, сбегает с собраний... Если в классе назревает острый конфликт, сложная ситуация, Платоша избирает гнилой нейтралитет.

Его хотели сделать ответственным за политинформации в классе, он отказался. Подумаешь, сторонник «чистой науки». Чем же тогда отличается комсомолец от некомсомольца? И для кого написан устав? И кому нужно лишь формальное пребывание в комсомоле?

...Наконец Сережа решился и написал заявление. Виталий Андреевич увидел его на столе: «Рассматривая комсомол, как коммунистическую партию молодых...»

— Ты себя хорошо проверил? — спросил он у сына.

— Думаю, что да.

— Знаешь свои недостатки? Готов их преодолеть?

Сережа молчал, лицо его стало сосредоточенным.

— Я несамокритичен... Только про себя признаю ошибки, а вслух об этом сказать не могу.

— Да, это очень серьезно.

— А ты всегда самокритичен?

Совершенно не понимает, что можно говорить

отцу, а чего нельзя, деликатности в нем внутренней не хватает.

— Стараюсь быть, — как можно спокойнее сказал Виталий Андреевич.

— Мама член партии, а несамокритична. Почему ты не в партии?

— Я тоже готовлюсь.

— Почему так долго?

Виталий Андреевич с трудом сдержал себя:

— Теперь уже скоро...

На классном комсомольском собрании Сереже изрядно досталось за все его художества. Вылезла и Верка Сеницына:

— Я однажды только легонько на черчении толкнула сзади его в спину, а он меня хлопнул учебником по голове. Хорош джентльмен!

— Но если ты не леди? — попытался отбиться Сережа.

— Грубиян! — возмущенно фыркнула Сеницына.

И Варя посмотрела на Сережу укоризненно:

— Действительно некрасиво.

Вдруг поднялся Ремир:

— Я думаю, что с приемом Сергея надо по-временить...

Это прозвучало, как разорвавшаяся бомба. Лучший друг — и заявил такое!

— Почему?

— Да, почему? — допытывалась и Варя, неприязненно поглядывая на Бакалина.

— Он плохо владеет собой, — настаивал Ремир. — Последний случай с Сеней подтверждает это.

Сережа вцепился пальцами в парту. «Такая неблагодарность! Его же защищал! Ну сказал мне — и хватит! Так нет, надо еще здесь...»

— Ты... ты, — захлебнулся он от гнева, — предатель...

Ремир побледнел:

— Если бы я, видя недостатки друга, безразлично молчал — это было бы предательством...

...Все же большинством голосов Сережу приняли, но возвращался он домой подавленным.

Виталий Андреевич, выслушав мрачный рассказ сына, оскорбился за него:

— Перехватил твой Ремир!

Но Сережа, стиснув зубы, неожиданно отверг заступничество:

— Нет, он выступил принципиально! Просто ты, папа, недопонимаешь это как беспартийный.

...И Варя дома все возвращалась мыслью к собранию.

Вечером родители ушли куда-то в гости, наступила тишина, которую Варя особенно любила. Только потрескивал счетчик в коридоре, да временами пела водопроводная труба. Пахло недавно испеченным пирогом.

«Прав ли Бакалдин? — размышляла Варя, отложив в сторону учебник. — Наверно, прав, и все же зачем так резко?.. Сережа сейчас очень переживает».

Не без удовольствия вспомнила Варя, как ответил он Синицыной: «Но если ты не леди?» «Схулиганил, конечно, но сама же пристаёт. В конце концов, к нам относятся так, как мы разрешаем».

Варя положила подбородок на сплетенные пальцы, мечтательно уставилась в окно. Горели разноцветные витрины города, зябли деревья, припорошенные снегом. Варе представилось: вот

они вместе идут заснеженной улицей. Она взяла Сережину руку в свою. «Ну хватит... Перестань хмуриться...» Варя очнулась, отвела глаза от окна, пододвинула учебник: «Что-то я расфантазировалась...»

Глава семнадцатая

«27 ноября. Я пишу этот дневник только для себя, и никто никогда не должен его видеть.

В конце каждого года буду просматривать записи, чтобы стало ясно: где я ошибался, а где поступил правильно, какие оценки давал людям и происшествиям. В пятнадцать лет уже пора иметь самостоятельные суждения.

Я приготовил тайник в подвале, в корзине для старых книг, и там прячу дневник. Правда, мама подозрительно спросила: «Что это ты зачистил в подвал?», но я неопределенно ответил: «Сношу туда разные никому ненужности».

22 декабря. Непонятные у меня отношения с Варей и вовсе не любовные. Мне приятно ее видеть, говорить с ней, слушать ее. Однажды Варя даже приснилась, будто мы катались на глассере... Но я ни за что не сказал бы ей разные глупости: «люблю», «умираю». А она вроде ждет от меня каких-то слов. Недавно опять сказала: «Ты еще совсем ребенок». Подумаешь! Но все равно, если бы ей понадобилась донорская кровь, я бы свою, не задумываясь, отдал. А может быть, я женоненавистник? Хотя нет, ведь еще в пятом классе написал записку Леночке Вязиковой: «Хочу на тебе жениться. Ответ положи в трубу кооперативного дома». Ну не идиот?!

А с Ремиром у меня было объяснение. Он сам начал: «Когда я давал временный отвод, думал, что делаю тебе лучше... Я считаю, что в комсомол надо приходить подготовленным, а не то, что «там меня довоспитают».

Я ему: «А ты совсем довоспитанный?!» — «Вот видишь, и сейчас...» — сказал он.

Но потом я подумал и решил: надо менять свой характер. Конечно, не быть слюнтяем, который со всеми сразу соглашается и не может отстоять собственное мнение, но и уметь смотреть на себя со стороны!..

И еще я все чаще задаю себе вопрос: в чем смысл моей жизни? Вот Рем думает о судьбах людей, а что буду я делать?

Математик Соболев стал академиком в тридцать один год. Моцарт сочинил музыку пятилетним. Неужели же я в пятнадцать лет не в состоянии хотя бы определить свое будущее?

Нет, я снова пришел к твердому решению: конечная цель — стать конструктором самолетов, ракет. Но после дружбы с Ремом мне стало ясно: узкий специалист не сможет добиться настоящего взлета. Надо знать и живопись, и музыку, и философию, и литературу. Наш классный пещерный человек Передереев изрек: «Картины Репина — раскрашенные фото. Пушкин — устарел...» Понахватался где-то нигилизма.

Вчера мы с Ремом увидели на лотке книгу «Конец немецкой классической философии». Он говорит:

— Давай купим.

Я заколебался:

— А пойдем?

Перелистали, страничку прочитали, решили — купим!

Мама увидела на столе у меня эту книгу — удивилась:

— Да ты еще философом будешь?

— Сейчас физика без философии — ничто. Если два человека обмениваются яблоками — у них так и останется по яблоку. А если обмениваются идеями — у каждого будет по две идеи.

— Логично! — сказала мама.

14 января. Я сегодня здорово подъял мамину.

Она неосторожно пошутила:

— Когда получишь паспорт, махнем куда-нибудь втроем... На Мадагаскар...

А я:

— Дай честное архитекторское!

Мамина молчит — не хочет давать. Я спрашиваю:

— Ты умная?

Она была настроена благодушно, поэтому не оскорбилась:

— Не очень.

— Э-э-э, нет, — говорю я. — Ты хитришь. Про себя считаешь себя умной, а говоришь так, чтобы казаться скромной.

Тут она оскорбилась. Удивительный народ эти взрослые: как только терпят поражение — так сразу в обиду.

Вот, например, наш завуч — Федор Федорович. Кристально честный человек... А когда я сказал ему с глазу на глаз: «Все же у вас не всегда подход к нам тонкий» — обиделся: «И без того истончился».

Ну, это я понял: нервы мы ему поистрепали; дома, в своей семье, Федор Федорович почти не бывает, все в школе. Разве ж мы это не ценим? Да, когда я стану самостоятельным и при-

еду, хотя бы на день, в Ростов, прежде всего в школу зайду.

16 января. Я хочу опять возвратиться к тому, в чем вижу смысл жизни. Чтобы люди меня уважали, чтобы я был им нужен.

А какие качества я больше всего ценю? Борьбу и победу над собой. И потом — честность наедине с совестью. На людях это может быть и показухой, а вот когда перед самим собой отвечаешь... Я уверен, что мой отец именно такой.

Ненавижу тех, кто сейчас бомбит Вьетнам. Разрешили бы — немедленно поехал туда... И Рем тоже...

«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели» (К. Циолковский).

Ясно — нельзя. И дальше Константин Эдуардович написал:

«Сейчас люди слабы, но и то преобразовывают поверхность Земли. Через миллионы лет это могущество их усилится до того, что они изменят поверхность Земли, ее океаны, атмосферу, растения и самих себя. Будут управлять климатом (будут! — С. К.) и будут распоряжаться в пределах Солнечной системы, как и на самой Земле...»

20 января. * Английский самолет «Шорт» — бесхвостый, треугольное крыло, взлетает вертикально.

Флаттер — губительная вибрация.

Еще из Циолковского, о том времени, когда люди... «воспользуются даже материалом планет, лун и астероидов, чтобы не только строить свои сооружения, но создавать из них новые живые существа».

Аж дух захватывает!

28 января. Хочу объективно изложить

одно происшествие в классе. Был урок литературы. Я задумался. Каждый человек может задуматься. Сочинял новую главу нашего романа. Надежда Федоровна о чем-то спросила, я не расслышал, о чем. Тогда она сказала раздраженно:

— Да ты что, с луны свалился?

Даже непохоже на нее. Обычно верит в нас, старается сделать возвышенными... Меня задел ее тон.

— Нет, — говорю, — с Марса.

— Ну и характерец у тебя, Лепихин, становится.

— Характер как характер, первым не нагублю.

— Дай дневник. — Это она.

— Я его дома оставил.

— Чтобы завтра во время большой перемены родители пришли...

Ну, спрашивается, из-за чего шум? Может быть, у нее неприятности дома, а она взъелась на меня. Отцу рассказал.

— Разве, если она учительница и много старше меня, значит, может грубо разговаривать?

— Нет, — ответил отец, — оскорблять человека никому не позволено. Но и грубостью отвечать на грубость — значит, ронять свое достоинство. Если хочешь знать, для меня самое возмутительное в этой истории то, что ты не взял в школу дневник. Опять ненавистная разболтанность.

— Ты пойдешь в школу? — спрашиваю.

— А что остается делать? Легче бы мне в самую трудную командировку отправиться.

Мне стало его жаль:

— Пусть мама пойдет.

— Нет, увольте! — Это мама. — У меня там мой собственный дневник потребуют.

Ну, продолжу эту историю завтра, надо задачки по физике порешать.

13 февраля. Вот не знает человек, где что его ждет. Напала на меня какая-то гадость: сыпь появилась, будто крапива обожгла. Врач прописал горькое пойло. Зато наслушался я интереснейших разговоров родителей моих! Лежу тихонечко, они думают — больной уснул.

Отец, когда из школы пришел расстроенный, шепотом говорит маме:

— Существует какая-то неписаная и фальшивая солидарность взрослых, согласно которой я, отец, должен «с пониманием» выслушивать любое обвинение учителя в адрес Сергея. Если же я скажу учителю, что и с его стороны грубость недопустима, то этим рискую навлечь на мальчишку новые неприятности.

— А я бы ей все прямо выложила, — заявила маминушка.

— Ну ты — другое дело. У тебя характер — «трамвай № 4», — добродушно сказал отец.

Я чуть не расхохотался громко, услышав это. Дело в том, что еще осенью ждали мы как-то семейством трамвай № 4. Дождь лил страшный. Ждем, ждем — умри, нет «четверки». Подходит «шестой».

— Ну, следующий наверняка будет «четверка», — говорит мама.

И так себя в этом уверила, что когда подошел следующий трамвай, она в него вскочила, даже не поглядев, какой. А только трамвай отошел, наша маминушка выяснила, что это тоже «шестерка» и нас в трамвае нет. Вот смехота была!

Вообще, мама мне рассказывала, что в свои школьные годы она была изрядной непоседой, готовила только те уроки, что ей нравились, и хотя получала «четыре» и «пять» по истории, литературе, но выезжала исключительно за счет прекрасной памяти. Не понимаю, почему же она так свирепеет, когда со мной что-то получается?

В общем, я для себя сделал такой вывод: хватит с меня поучений, сам разберусь, что хорошо, что плохо, что надо, а что не надо.

И еще я узнал очень неприятную вещь, когда отлеживался.

Прямо невероятное открытие! Оказывается, отец — несправедливый ревнивец.

Кто-то звонит, допишу в следующий раз.

16 февраля. А было дело так. Я днем выдряхся, и часам к 12 ночи не спалось. Вот приходит отец. Мама спрашивает:

— Ты где был так поздно?

А он молчит, только как-то грузно ходит по комнате. Мама говорит:

— Виталий, что с тобой? Ты нетрезвый?

А он отвечает:

— Я же тебя не спрашивал, где ты была позавчера, когда явилась к часу ночи.

— Но я сама сказала — на собрании.

— А может быть, у этого собрания — фамилия Левадов?

— Что-о-о?! Ты с ума сошел!

— Нет, почему же? Он молод, красив, неглуп.

И тогда мама, наверно, подошла к отцу.

— Отелло ты мой, Отелло, — сказала она как-то очень ласково. — Дай-ка мне твою седую чуприну, я потреплю ее... Ну что ты надумал? Я ж тебе сама рассказывала об этом

Левадове. Неплохой человек. Да не нужен он мне ни капли, и вообще никто, кроме тебя, не нужен.

Так мне за отца стало неловко! Ведь придумать! Я вот, например, не унизился бы до ревности. Мы с Варей недавно говорили на эту тему. Правда, она сказала: «Если человек любит, он невольно ревнует, боясь потерять... Просто ты ничего не понимаешь».

Ну, конечно, не понимаю! Чего же бояться терять, никто никого силком не держит. А защитить Варю всегда готов.

Как-то Передереев выругался при Варе. Я подошел к нему:

— Извинись!

А сам чувствую: еще немного — и так ему залеплю, век помнить будет! Передереев зло посмотрел на меня:

— Чего пристаешь?.. Вырвалось..

— Извинись!

— Я, Варька, правда, не хотел... — выдавил из себя Передереев.

Варя потом сказала мне:

— Нет, ты не бахвал.

Это она все не может забыть, как я в Дон прыгнул.

А я точно знаю: Дон я в это лето переплыву, буду тренироваться — и переплыву.

Вот сейчас у меня возникла неожиданная мысль: если бы Варя полюбила Ремира, я молча отошел бы в сторону, потому что он лучше меня... И потому, что у меня к ней совсем другое... Очень хорошее, но другое. Без глупых ухаживаний и вздохов.

Нет, милые мои, я понимаю больше, чем вы думаете».

Глава восемнадцатая

Зашел Венька Жмахов, необычайно возбужденный.

Райса Ивановна слышала, как он сказал Сереже:

— Надо будет купить ассорти. Бутылки я загнал.

— Что это такое — ассорти? — спросил Сережа, но, видно, вспомнил: — А-а-а... По-моему, главное — закуска.

— А что будем пить?

— Кубинский ром! — с апломбом заявил ее сын, и возражений не последовало, только Жмахов сказал:

— С доклада сбежим...

— Что это у вас за совет? — не выдержала Райса Ивановна.

Венька смутился, а Сережа ответил честно:

— Думаем вечеринку организовать.

— Не тем у вас умы, друзья, заняты, — нахмурилась Райса Ивановна. И к сыну: — Пойди купи хлеба и молока.

— Один момент! — с готовностью вскочил Сережа, видно, почувствовав неловкость, и ушел вместе с Венькой.

Райса Ивановна в тревоге заходила по комнате: как же быть? Позвонить директору, классной руководительнице? Перед глазами сразу всплыла трагичная история Владика. Его недавно приговорили к пяти годам тюремного заключения. Запретить Сереже идти? Но ведь сама она в восьмом классе уже участвовала в таких вечеринках.

Появился Сережа.

— Получай, матушка! — Он поставил на ку-

хонный стол сумку, набитую хлебом и бутылками с молоком.

Начитавшись классиков девятнадцатого столетия, он начал величать Раису Ивановну матушкой, несмотря на ее протесты.

— Теперь быстренько надраю полы и сяду за сочинение... У нас на прошлом уроке возник любопытный спор. Уйма вопросов: «Почему Татьяна Ларина свой выбор остановила именно на Онегине? Не поступила ли она девичьей гордостью, написав ему письмо?» Пошляк Хапон заявил: «Уж назначила бы свиданье! Написала: «Женя, я тебя люблю».

— Делать вам нечего.

— Нет, это любопытно. Между прочим, я никогда не женюсь, — вдруг решительно объявил Сережа.

— Почему? — скосила в его сторону глаза Раиса Ивановна.

— Слишком хлопотно. Конечно, если вы хотите, я буду жить один. Холостяком. Или вступлю в этот... как его... фиктивный брак. Не понимаю, что это за штука?

— Где ты о нем слышал?

— Чернышевский, «Что делать?». Не могу понять, как можно: любя Веру Павловну, согласиться на ее фиктивный брак с Лопуховым?

— Значит, надо было...

— Надо! А ты бы согласилась, чтобы у отца был фиктивный брак?

— Н-нежелательно, — рассмеялась Раиса Ивановна.

— То-то же. Что касается меня, то вряд ли найдется дурочка, которая возьмет меня такого замуж.

— Какого?

— Ну, неорганизованного.

— Да, может быть, и всучим кому-нибудь как залежалый товар.

— И детей иметь не буду. Что я, не вижу, как их трудно воспитывать?

Сережа сел на табурет и даже выключил радио — разговор его явно интересовал.

— Рановато ты о женитьбе заговорил, — насмешливо посмотрела мать.

— Тутанхамон женился, когда ему было восемь лет, так что я даже опоздал, матушка!

— Ну вот что, дружок, начинай-ка натирать пол, а этот разговор мы продолжим в другой раз...

Она вдруг с необыкновенной ясностью увидела то осеннее утро, когда вела Сережу в первый класс. А потом через несколько часов пришла за ним, и немолодая учительница Галина Семеновна, строго глядя на Сережу, говорила:

— Ваш сын дергал Верочку за косы.

— Не за косы, а за бант, — угрюмо уточнил он.

А теперь осаждает вопросами: «Что значит незаконнорожденный?», «Кто такая кокотка?»

— Слушай, а Варя будет на этой вечеринке?

— Сомневаюсь, — с заминкой ответил Сережа.

— А Рем?

— Отказался.

— Так зачем тебе идти без самых близких друзей?

Он заколебался, потом сказал:

— Да ты думаешь, мне хочется? И не пойду!

— Ты мне не можешь объяснить, почему Варя к нам не приходит? — внимательно посмотрев на сына, спросила Раиса Ивановна.

— Стесняется.

— И напрасно. А ты у нее дома был?

— Был.

— Ну и как тебя приняли?

— Ничего. Только поглядывали подозрительно, что за зверь появился?

Он недоуменно пожал плечами.

— Кексом угощали. Чай усадили пить. Так чинно. Мама все меня величала «молодым человеком». Я чуть не подавился.

Виталий Андреевич долго не знал, как приступить к щекотливому разговору. Что он необходимо — было совершенно ясно. И лучше взять его на себя, чем полагаться на мутный источник какого-нибудь бывалого уличного циника.

Но как найти нужные слова — деликатные и откровенные, предельно доверительные, как не отпугнуть мальчишку, не оттолкнуть его от себя нескромностью, не вызвать у него чувства неловкости, стыда? Как определить допустимый и верный тон?

Может быть, рассказать вроде бы о знакомом юноше? И о мужской гордости. Об опасности случайных связей? О половом созревании.

Виталий Андреевич все отодвигал и отодвигал разговор, подыскивая для него подходящий момент и место.

Как-то в воскресенье они возвращались с катка. Усталые и счастливые шли по заснеженной аллее парка. Вечерело. Зажглись фонари. Было безлюдно, и только с разлапистых веток старых елей срывались хлопья снега.

И все это — первозданная тишина, какая-то внутренняя умиротворенность, близость, словно бы еще больше укрепившаяся в этот день, — все разрешало начать разговор. Тем более что Сережа возмущенно сказал о Передерееве:

— Хвастается своими мужскими победами.

— То есть?.. — ошеломленно приостановился Виталий Андреевич.

— Ну, какой он успех имеет... И грязно о девочках...

«Вот сейчас и время», — решил Виталий Андреевич.

Сережа слушал серьезно, не поднимая глаз, не задавая вопросов, только когда они уже вышли из парка, тихо сказал:

— Хорошо, что ты со мной, как со взрослым...

Глава девятнадцатая

Сереже опять не спится. В последнее время такое случается с ним довольно часто. Прежде только прикасался щекой к подушке — и словно проваливался в черную пропасть без снов. А теперь все думает, думает...

Он лежит в темноте с открытыми глазами, отрешенный, строгий. «Зачем появился я на свет? Короленко писал: «...для счастья, как птица для полета». Но ведь счастье должен давать и я другим? Отец говорит: «Вы, молодые, в ответе за все на земле». Но как отвечать, как? Вокруг необыкновенная жизнь, интересная, кипучая... Люди возводят самый справедливый в истории мир... Значит, и мне предстоит...»

За окном светит над Доном яркая луна. В открытую форточку проникают запах весенней воды, перестук колес далекой электрички...

«Какое замечательное изречение недавно попало мне: «Если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только за себя — зачем я?»

А что я могу? Чего хочу? Уже приглядел себе обычный путь: сразу в университет, на физ-

мат или на самолетостроительный факультет авиационного института. Все гладко... Нет, браток, надо поступить в летную школу, стать испытателем, как Сергей Анохин. Этот герой для проверки, прочности нового самолета, теоретических выкладок дал во время высшего пилотажа такую нагрузку самолету, что он начал разваливаться на куски, а испытатель чудом спасся на парашюте, правда, лишился при этом глаза...

Вот и я сначала стану испытателем, а потом конструктором.

Представляю, как запаниковала бы мама, узнав, что я уже был в военкомате и в училище... Везде говорят: «Рано. Готовься». Рано да рано! Скорее бы услышать: «Пора!»

Я скажу маме: «Президент Академии наук Келдыш когда-то учился летать на самолете; конструктор Ильюшин был чернорабочим на аэродроме, мотористом, летчиком; другой конструктор и один из первых парашютистов, Артем Микоян, был нашим ростовским фезеушником, учеником токаря на заводе «Красный Аксай». И добились!»

В форточку влетело что-то большое, затрепетало, забилося между рам. Сережа вскочил. «Наверно, летучая мышь...» Поймал это «что-то», оказывается — воробей. Ладонью почувствовал, как в страшном испуге бьется его сердце. Выпустил воробья на волю.

Раздался сонный голос мамы:

— Ты почему не спишь, полуночник?

— Сплю, сплю...

Он снова лег на спину, вытянулся. «Пора мне принимать самостоятельные решения. Надо, например, прыгать с парашютом. Если мама поднимет бучу, не отступлюсь: «Я должен научить-

ся защищать свою Родину». Отец наверняка поддержит — он солдат. Рассказывал, что кончал войну в Югославии. И вот там, в одном городке, Крагуевиц, фашисты повели на расстрел семьсот гимназистов.

А учитель пошел с ними. Добровольно. Сказал: «Я даю последний урок».

А как бы я себя держал в смертельной опасности? Неужели распустил бы юни?»

Сережа представил: он попал при испытании самолета в отвесную, глубокую спираль. Машина пикирует, вот-вот развалится... Он катапультируется в последнее мгновение... Конструктор Петляков погиб из-за пожара в воздухе. Этого мама не должна знать...

Что я буду строить: ракеты или самолеты? Реактивные... с изменяемой в полете геометрией крыла... вертикально взлетающие... Исчезнут специальные аэродромы, зависимость от погоды. Ракета полностью не заменит самолет, а сама, наверно, станет крылатой... Так утверждает Яковлев. У пассажирских самолетов будет скорость три тысячи километров в час... Три часа до Америки!

Где-то далеко, в городе, заиграли куранты... три часа... три часа...

Потом возникло лицо Вари: улыбающееся, задорное. Оранжевый шарф солнечным лучом лежит на ее плече. Ветер развевает золотистые волосы.

«Хорошо, что она есть, — уже засыпая, подумал Сережа, — и что Рем есть...»

Утром первой мыслью Сережи было: «Наконец-то я выработал твердый план жизни. Папа

сказал — в конструкторских бюро есть профессии: прочнисты, химики, аэродинамики, металлурги, рентгенологи. Значит, надо дьявольски много знать. Усидчивость и еще раз усидчивость! Тренировать волю, физически закаляться».

Сережа постучал в комнату отца:

— Подъем, на зарядку!

Во время завтрака сообщил отцу вроде бы между прочим:

— Мы вчера в «Звездном городке» испытывали электронный фотопистолет.

— Тренируете остроту реакции?

— Да. На вращающемся кресле Барани я себя чувствую неплохо.

Покосился в сторону матери:

— Пора подумать о парашютных прыжках...

— Лучше подумай о русском языке, — посоветовала мать.

— В следующий вторник, — будто не расслышав замечания матери, продолжал Сережа, — мы поедem в гости к летчикам... Нам разрешат примерить высотные костюмы, гермошлемы...

— Это интересно, — сказал отец.

— Ты знаешь, мой ракетоплан взлетел на триста шесть метров, — оживляясь, повернулся лицом к нему Сережа.

— Уже недурно...

— Маловато... Летом ведь всесоюзное состязание на приз имени Юрия Гагарина. Мы готовим действующую модель «Малый Байконур» с дистанционным управлением. Представляешь, маминушка, — немного даже заискивая, сказал Сережа, — в космическое пространство сейчас выходят в скафандрах с новой системой регенерационного типа. А наклонение орбиты — пятьдесят один градус сорок одна минута.

Райса Ивановна поглядела недоуменно, ответила, немного подтрунивая:

— Тебя в цирке можно показывать, как запрограммированное устройство...

Сережа вдруг обиделся:

— Все это знает любой пригостишка.

— Ну, не сердись, мне даже нравится такая одержимость...

Сереже и слово «одержимость» не пришлось по душе.

— Я же не удивляюсь вашим вечным разговорам с отцом о консолях и интерьерах!..

«Нет, он растет не узким человечком. Вот увлекся в школе драмкружком, играет в чеховском «Трагике поневоле» отца семейства, а Ремир — Мурашкина. Уму непостижимо: Сережка — и вдруг артист. Сколько кутерьмы было, когда добывал накладные усы и бороду, коробку для шляпок. А как вопил на весь дом: «Я выючная скотина... тряпка, болван, идиот! Крови жажду, крови!»

— Я — за увлеченность! — сдалась мать.

Глава двадцатая

Майский ливень исхлестывает землю, мчатся бурные потоки по мостовой, к Дону, а дождь припускает все сильнее и сильнее.

Сережа стоит у окна, с тоской смотрит на лужи, на водяную сеть над рекой. Вон катерок потащил на буксире неисправную «ракету». Какой униженный вид у «ракеты». Сереже надо идти на субботник: он дал слово и Варе и Таисии Самсоновне, а мама не пускает, и он себя чувствует тоже униженным.

— Должен пойти, — настойчиво повторяет Сережа, — понимаешь, должен.

— Только безумец может идти в такую погоду, не будет ни одной души!

Виталий Андреевич, до сих пор молча что-то вычислявший, поднял голову:

— Пусть он будет один.

— Кому и что он этим докажет? — протестующе воскликнула Раиса Ивановна и вышла из комнаты.

Сережа пошел за ней.

— Ну, маминушка, — как можно ласковее, тихо сказал он и по старой привычке неуклюже ткнулся носом в ее плечо: — Какая же это педагогика: отец говорит одно, ты — другое...

Раиса Ивановна метнула на сына быстрый взгляд:

— Ну, если тебе уж так страшно хочется — иди, мокни. Только имей в виду, лечить я тебя не буду. Плащ надень! — крикнула она вслед кинувшемуся к дверям Сереже.

— Надену, надену.

Раиса Ивановна возвратилась в комнату, стала у окна. Дождь почти прошел.

— Паршивец! — возмутилась она. — Несет плащ в руке!

Виталий Андреевич подошел к ней, обнял:

— Дорогая наша маминушка, а ты в юности на субботники ходила?

— Еще как!

— И дождь тебя не останавливал?

— Даже землетрясение!

Они рассмеялись.

— Но сейчас время другое, — еще продолжала сопротивляться Раиса Ивановна.

— Сомневаюсь. В главном — время то же самое. И в этом не надо нам его менять...

Сережа ехал в трамвае к Сельмашу. Вот уже слева осталась площадь Карла Маркса, парк с мемориалом погибшим в войну.

Отец недавно возвратился из Москвы. У них там, в сквере возле Большого театра, была встреча фронтовых товарищей — летчиков. Приехал помолодевший, торжественный, долго рассказывал о своих друзьях, потом спросил:

— Ты думал о службе в армии?

Он ответил:

— Думал...

— Ну и что?

— Постараюсь быть хорошим солдатом...

А вон у остановки и вся братия, Рем, Варя в голубой косынке и полотняном платье с оторочкой, как у авиаконверта...

Сережа улыбнулся этому неожиданному сравнению: «В блокнот Рема, он собирает художественные детали!» И спрыгнул с трамвая:

— Салют работникам коммунистического труда!

...Он возвратился измокший, с захлюстанными брюками и туфлями, но счастливый.

В доме пахло жареным мясом и картошкой.

— Зверски хочу есть!

— Редчайший случай! — удивилась мать.

— Мы строили «Варенишницу» возле Сельмашевского вокзала.

— Ого, куда вас занесло!

— Ребята работали, как дьяволы. Даже Халпун. Он был в моей бригаде. Прораб объявил нам благодарность.

— Ну ладно, садись, труженик, за стол.

В кухне Сережа продолжал оживленно болтать:

— Экзамен по литературе через семнадцать дней — первого июня. Ничего себе, хорош день защиты детей! Ты знаешь, во время экзаменов повышается процент сахара в крови!

Наевшись, Сережа встал:

— Пойду посочиняю...

Работая на стройке, он окончательно продумал текст письма «бывшему отцу». Мысль об этом его давно мучила. Надо настоять все же на перемене фамилии. Пора кончать!

Сережа достал лист линованной бумаги и одним духом написал:

«Станислав Илларионович!

Я хочу носить фамилию родителей, которые меня воспитывают, и прошу в просьбе мне не отказать.

Сергей».

Сережа лежит в постели. В соседней комнате горит настольная лампа; отец уехал в командировку, и мама работает за его столом.

Сережа плотнее сжимает веки, но сон не приходит. Во взбудораженном мозгу проносятся картины дня.

В перемену Передереев нашел в своей парте учебник по литературе — кто-то из другого класса забыл.

Передереев, не любивший литературу, стал один за другим выдирать листы из книги и разбрасывать их вокруг себя. Вот лег на пол лист с портретом Пушкина, вот рядом — «Песня про купца Калашникова». Сережа не выдержал, встал над Передереевым, решительно потребовал:

— Кончай погром!

Передереев угрожающе приподнялся, но рядом очутился Ремир. Лицо его побледнело от гнева, Сережа ни разу не видел его таким.

— Ванда! Ты вандал!

Передереев забормотал:

— Ванда-мандал! Ничейный он!

...Хороший парень Рем. Дружба с ним многое дала Сереже. Сделала взрослее и... богаче. Да, богаче.

Но как еще мизерны его богатства!

Он почему-то представил земной шар: летит куда-то в огромном океане. Век — мгновение... И его, Сережи, не будет, а Земля продолжит свой извечный полет...

— Мам! — позвал Сережа.

— Ты еще не спишь? — удивилась Раиса Ивановна.

— Нет. Иди сюда.

Раиса Ивановна села на кровать, провела теплой ладонью по его волосам:

— Ну что, сыночка?

— Я, мам, сейчас подумал, какие же мы песчинки в мироздании.

Раиса Ивановна не удивилась этой фразе, поняла настроение сына.

— Из песчинок создан гранит, — сказала она, продолжая гладить Сережу по волосам.

— А вода и ветер разрушают гранит, — задумчиво сказал он, — все имеет свое начало и свой конец... Значит, будет и конец Вселенной...

— Зачем же так мрачно? Ты же читал мне Циолковского: «Люди достигнут иных солнц и воспользуются их свежей энергией взамен своего угасшего светила».

— Обидно... человеку отведено так мало жизни...

— И за этот малый срок, Сереженька, можно оставить значительный след на Земле...

— А время все сотрет...

— Человек с Земли унесет на другие планеты все лучшее.

— Прожить хотя бы двести-триста лет. Представь, если бы Пушкин поднялся и увидел самолеты, телевизор, узнал о телефоне, радио, телеграфе... И мне хочется заглянуть хотя бы в двадцать второй век!

— Ну, спи, спи, мой мечтатель!

«Надо менять отношение к этому человеку,— думает она,— решительно менять. Заглядывать чаще не в школьный дневник, а в душу».

— Спокойной ночи, маминушка.

Сережа сбросил простыню и выскочил на балкон.

День открывали мотороллеры. Натужно взывая, они тащили по взгорью Буденновского проспекта, с речного вокзала, на базар коляски, груженные до отказа набитыми мешками. Казалось, доносился запах свежей капусты и огурцов.

Начинали скрести своими метлами дворники. Первые лучи солнца подрумянили зеленые купола собора. На нежно-розовом небе ракетой, замершей перед стартом, вырисовывалась телевизионная вышка на горе.

Синие языки разлива протянулись к Задонью. Сочная зелень затопила город и берега. Шли вверх к Цимлянскому морю баржи. У строящегося жилого дома, возле института рыбного хозяйства, позванивал желтый, похожий на

жирафа кран, втаскивая на этажи бетонные плиты.

Стоя на балконе, Сережа мог, не глядя на часы, довольно точно назвать время. Вот хлынул поток людей, спешащих к зданию ТЭПа, значит — 8.20; вот бегут вечно запаздывающие на минуту пассажиры на «метеор», значит — 8,25.

«Интересно, собрался ли Рем?» Они сегодня решили с утра отправиться часа на два за Дон.

«Ага, пришел. — Внизу приветственно помахивал ему рукой Рем. — Как всегда, точен».

Сережа крикнул: «Иду!», сунул в карман горбушку хлеба, несколько редисок — и по лестнице вниз.

— Привет открывателю Задонья!

— Как почивала ваша светлость? — губы Ремира едва дрогнули.

— Спал, как бобик...

...Тополиный пух садится на зеленовато-серые волны Дона, и обманутые мальки пытаются заглотать пушинки. Сережа останавливается у чугунной причальной тумбы с надписью: «Механический завод Д. Пастухова, 1897 г. Ростов-на-Дону». Говорит почтительно:

— Хорошо сохранилась старушка...

Они двинулись через мост на левый берег. Внизу, на пляже, рабочие устанавливают цветные тенты грибков.

Они вошли в прохладу рощи. Трепетали на ветру, подбитые белым, листья клена, плакали ивы, сбрасывая на головы мальчишек крупные слезы. В сизой дымке стояли дикие маслины. Тосковала кукушка. Весело пенькали пеночки, гудели шмели. На лугу окутывали ноги липкий журавлиный горошек и мохнатый лисохват. В за-

тененных сырых ярах кружили над желтой калуженицей бабочки-переливницы; посвистывали стаи скворцов; начинала цвести плакун-трава с пурпурными листьями, похожими на запекшуюся кровь.

Устав, Сережа и Рем сели у берега на поваленный ствол старого клена. Сережа достал из кармана горбушку хлеба, редиску, разделил все поровну.

Резали волну, похожие на пироги, байдарки. Из-за поворота Дона стремительно вывернулся тупоносый, лобастый «метеор» на могучих ногах-подставах, омываемых kloкочущими бурунами. Было в нем что-то марсианское: вот сейчас еще усилие — и оторвется от воды, взмоет в небо.

На волнах, поднятых промчавшимся «метеором», поплавками закачались рыбачьи лодки.

— Жаль мне будет уезжать из Ростова, — задумчиво произнес Рем, провожая глазами все уменьшающийся «метеор». Казалось, большие уши Рема настойчиво ловили шум его мотора.

Сергей с тревогой поглядел на друга.

— Куда уезжать? — еще не понимая, о чем говорит Рем, спросил он.

— С цирком, в Киев, месяца через полтора...

Сережа сжался. Как же он будет жить без друга? И неужели это навсегда?

Словно успокаивая, Рем сказал:

— Возможно, мы еще сюда приедем. — И положил узкую ладонь на плечо друга. — Ты Варю любишь? — ошеломил он Сережу неожиданным вопросом.

Тот посмотрел с недоумением.

— Понимаешь... Я считаю ее лучшей девчонкой у нас в школе... И вообще... Но не могу ска-

затъ... — словно оправдываясь, начал объяснять Сережа.

— Мы будем вместе тебе писать и вместе ждать...

— Она не будет, — непонятно ответил Рем.

В ответном письме Сереже Станислав Илларионович написал, что в воскресенье, в четыре часа дня, подъедет к ресторану «Балканы» для переговоров.

Сережа не стал рассказывать родителям об этом письме: зачем, может быть, по-пустому волновать их? В назначенный день и час он шел к ресторану. Впервые побрился, надел «испанскую» рубашку, галстук, и это обстоятельство очень его стесняло.

...Цвела акация, ее медовый запах, казалось, сгущал воздух. Сиренами кричали «ракеты» за мостом. Промчался, звеня и трепеща занавесками, открытый со всех сторон трамвай «Ветерок». Какая-то девица с сильно подмазанными глазами, отчего взгляд их был диковат, вызывающе поглядела на Сережу. Он скривился. У них с Ремом это называлось «сделать печеное яблоко».

Город был наполнен яркими красками, пропитан запахами согретого солнцем асфальта, речной воды. Зазывали громкоголосые продавщицы:

— Беляши с мясом!

— Горячие беляши!

Тянули к себе голубые повозки с маковыми бубликами, мороженым в синеватых обертках.

...Сережа стоял на ступеньках ресторана.

Станислав Илларионович опоздал минут на

десять. Критически оглядев долговязую фигуру юнца, приподнял руку:

— Салют молодежи! Нам, как мужчинам, надо будет посидеть. — Он кивнул в сторону ресторана.

— Хорошо, — кратко сказал Сережа. Собственно, это был совершенно чужой человек, с которым только обстоятельства заставили его встретиться.

Станислав Илларионович выбрал столик у окна, с видом на Задонье. В ресторане было еще мало народу, и официанты в национальных болгарских костюмах о чем-то болтали.

Один из них — высокий черноволосый юноша — подошел принять заказ. Дородный Лепихин, видно был здесь частым гостем, он отдавал распоряжения небрежно, многозначительно:

— Графинчик водки... Закуску, Ваня, по своему усмотрению... люля-кебаб... Тебе что? — повернулся Станислав Илларионович к Сереже.

Тот, обомлевший от подобного оборота дела, выдавил:

— Бифштекс. — Вспомнил, что однажды ел это блюдо с мамой: кажется, на куске мяса лежало поджаренное яйцо. Яичница показалась сейчас Сереже спасительной.

Станислав Илларионович разлил водку по рюмкам. Сережа хотел сказать: «Я не пью», но мальчишеское самолюбие не разрешило сделать это: «Еще подумает, что я совсем щенок. Чхать хотел — вот выпью и не опьянею».

— Ну что ж, — сказал Лепихин, — за переход в другой клан? — Он поднял рюмку.

«Ради такого дела я все же выпью», — окончательно решил Сережа и опрокинул рюмку в

рот. Водка обожгла горло, он чуть не закричал, но понюхал корочку хлеба, как это делают заправские пьянчуги.

— Лихо! — одобрил Станислав Илларионович.

Потом, уже не обращая внимания на то, что Сережа не пьет, все наливал и наливал себе. Лицо его стало сначала красным, потом багровым. Он начал кочевряжиться:

— Райке я бумажку не дал, а тебе дам. Род кончается. Все! Так любишь его? — Погрустнел. — А у меня, брат, с семьей не ладится.

Посмотрел на Сережу осоловелыми глазами:

— Значит, твердо решил?

— Я узнавал, закон на моей стороне...

Лепихин презрительно усмехнулся:

— Я сам себе закон.

Полез во внутренний карман пиджака, достал зеленый блокнот:

— Насильно мил не будешь.

Долго возился над ручкой. Открыв блокнот, написал: «Не возражаю против изменения Сергеем фамилии». Расписался, поставил дату. Вырвал лист, протянул его с обидой:

— Получай, товарищ Кирсанов. Если вызовут на райисполком — подтверждаю.

— Надо, чтоб нотариус заверил.

Станислав Илларионович поморщился:

— Ты законником стал. Сказал — сделаю. — И снова погрустнел: — Конечно, я дурак, неуважающий себя... давно неуважающий...

Сережа не стал его слушать дальше, подхватил бумажку и выбежал из ресторана. Он с трудом позже вспоминал, как добрался до дома, с каким ужасом посмотрела на него мать, когда он сказал заплетающимся языком:

— Вот, теперь все!

Рем, прощаясь с Ростовом, бродил по улицам. Удивительно быстро и прочно привязался он к городу. Конечно, этим во многом обязан другу. Сережа придумывал разные игры. То предлагал:

— Давай искать названия магазинов, где ясно «фамильное родство».

И они, радуясь, обнаруживали «Донскую чашу», «Дары Дона»...

Или Сережа говорил:

— Хочешь, я назову тебе номер любого углового дома по Пушкинской от Халтуринского до Театральной площади?

И действительно называл, они потом ходили проверять, все совпадало.

Ростов нравился Рему обилием цветов, шумливостью, южными красками. Даже этими пивными бочками на колесах, даже названиями магазинов: «Огурчик», «Ягодка».

Он любил смотреть, как в выходные дни потоки людей, груженных надувными лодками, термосами, мячами, удочками, стекались к переправам через Дон. Девчонки—в брюках и распашонках, ребята—в шортах и жокейках с прозрачными козырьками.

А другой поток—деловитых людей, вооруженных ножницами, лопатами, ведрами,—устремлялся к своим фруктовым владениям у Ботанического сада и Чкаловского поселка.

«Когда-нибудь, — думал сейчас Рем, — я опишу Ростов, и нашу дружбу, и... Варю».

Надо было идти в гостиницу, собираться на вокзал, родители ждали его.

До отхода поезда Кисловодск—Киев оставалось пять минут, а им не верилось, что они, скорее всего, никогда больше не увидятся.

Лицо у Рема грустное, хотя он и старается не подавать виду, как ему трудно расставаться с Сережей.

— А Дон я все равно переплыву, — для чего-то говорит Сережа. — Я тогда тебе дам телеграмму: «Переплыл». Ладно?

— Ладно.

На темно-синем вечернем небе лежит развороченный розоватый стожок, непонятный и таинственный. Неожиданно из стожка, словно стряхнув его с себя, показывается красный ободок луны, освещает небо, отстраняя таинственность. Сережа думает: «Это я на всю жизнь запомню». Повернув лицо к другу, тихо говорит:

— Если самолет новый создадим или ракету... тоже напишу.

Он вдруг густо краснеет, устыдившись похвальбы.

— Хорошо, — успокаивает Ремир.

— Я был тогда, Рем, несправедлив. От себя надо требовать как можно больше... — Сережа помолчал. Мимо автокар провез мешки с почтой. Прошел дежурный в красной фуражке. — Варя обещала прийти на вокзал. Странно, что ее нет.

— Ничего странного, — печально отвечает Рем.

И вдруг Сережу осеняет: «Да ведь Рем... Как же я это не понимал? Он боится признаться самому себе... И вот уезжает и от нее... Даже не попрощавшись...»

— Можно я Варе передам от тебя?..

— Нет-нет, не надо, — торопливо перебивает Рем, — прошу тебя, не надо...

...Еще сочиняя вместе научно-фантастический роман, они придумали для своих героев две дурацкие фразы. Каждый раз, когда тем не-

чего было сказать, один произносил раздумчиво:

— С точки зрения медицины...

А другой, как допугай, подхватывал скороговоркой:

— Интересное кино!..

Они были в восторге от этой, как им казалось, остроумной выдумки.

Но сейчас, когда уже было все сказано, и Рем обещал прислать свой новый адрес, писать, и Сережа напомнил девиз Дизраэли: «Никогда не жаловаться», и поезд медленно двинулся, Рем тоже попытался бодро крикнуть сверху, с площадки тамбура:

— С точки зрения медицины!..

Но Сережа не смог, не захотел повторить нелепый ответ и только неотрывно глядел на лицо друга.

Казалось, с поездом уходило что-то важное, неповторимое.

Сережа не знал, что уходило отрочество.

СОДЕРЖАНИЕ

Путь к себе. Повесть	3
Отчим. Повесть	121

Борис Васильевич ИЗЮМСКИЙ

**ПУТЬ К СЕБЕ
ОТЧИМ**

Повести

Редактор Н. А. Никитина

Художественный редактор З. А. Лазаревич

Художник В. М. Бакланов

Технический редактор Л. М. Криволапова

Корректоры С. В. Рыбалкина, Н. Д. Боровинская

ИБ № 486.

Изд. № 85/13121. Сдано в набор 01. 09.78 г. Подписано к печати 02.11.78 г. ПК 12238. Формат 70х90/32. Бумага тип. № 3. Гарнитура шрифта об. новая. Печать высокая. Объем 8,0 физ. п. л., 9,36 усл. п. л., 10,16 уч.-изд. л. Тираж 30000. Заказ № 154. Цена 40 коп.

Ростовское книжное издательство, г. Ростов-на-Дону. Красноармейская, 23. Типография им. М. И. Калинина Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Ростов-на-Дону, 1-я Советская, 57.

Цена 10 коп.